

БАХЫТ КЕНЖЕЕВ

**МУЗЫКА ГОРОДСКОГО
НЕБЫТИЯ**





Бахыт Кенжеев

музыка городского
небытия

135 стихотворений

POEZIA.US

CHICAGO

2015

Кенжеев, Бахыт. Музыка городского небытия. 135 стихотворений.

Это книга известного поэта Бахыта Кенжеева интересна тем, что составлена из небольших стихотворений автора. Размер каждого стихотворения не превышает одной страницы книги. Все стихотворения, собранные в книге, написаны в прошлом веке, но не потеряли свою прелесть и сегодня, в веке двадцать первом.

PRINTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA

Music of the City Nothingness

(A book of poetry in Russian)

Authored by Bakhyt Kenjeev

7.25" x 9.5" (19.05 x 23.5 cm)

Black & White on White paper

142 pages

ISBN-13: 978-1519284211

ISBN-10: 1519284217

Copyright 2015 by POEZIA.US, Chicago, USA

All rights reserved

Poems ©2015 by Bakhyt Kenjeev

Editor: © Igor Ostrovskiy

1 СТИХОТВОРЕНИЕ

*Не горюй. Горевать не нужно.
Жили-были, не пропадем.
Все уладится, потому что
на рассвете в скрипучий дом,*

*осторожничая, без крика,
веронала и воронья,
вступит муза моя — музыка
городского небытия.*

*Мы неважно внимали Богу —
но любому на склоне лет
открывается понемногу
стародавний ее секрет.*

*Сколько выпало ей, простушке,
невостребованных наград.
Мутный чай остывает в кружке
с синей надписью "Ленинград".*

*И покуда зиме в угоду
за простуженным слоем слой
голословная непогода
растילהается над землей,*

*город, вытертый серой тряпкой,
беспокоен и нелюбим —
покрывай его, ангел зябкий,
черным цветом ли, голубым, —*

*но пройдишь штукатурной кистью
по сырм его небесам,
прошлогодним истлевшим листьям,
изменившимся адресам,*

*чтобы жизнь началась сначала,
чтобы утром из рукава
грузной чайкою вылетала
незабвенная синева.*

2 СТИХОТВОРЕНИЕ

х х х

Говори – словно боль заговаривай,
бормочи без оглядки, терпи.
Индевеет закатное зарево,
и юродивый спит на цепи.

Было солоно, ветрено, молодо.
За рекою казенный завод
крепким запахом хмеля и солода
красноглазую мглу обдает

до сих пор – но ячмень перемелется,
хмель увянет, послушай меня.
Спит святой человек, не шевелится,
несуразные страсти бубня.

Скоро, скоро лучинка отщепится
от подрубленного ствола –
дунет скороговоркой, нелепицей
в занавешенные зеркала,

холодеющий ночью анисовой,
догорающий сорной травой –
все равно говори, переписывай
розоватый узор звуковой...

3 СТИХОТВОРЕНИЕ

х х х

Доживать, ни о чем не жалея,
даже если итогов (прости!)
кот наплакал. В дождливой аллее
лесопарка (две трети пути
миновало) спрягаешь глаголы
в идеальном прошедшем. Давно
в голове неуютно и голо,
о душе и подумать смешно.
Дым отечества, черен и сладок,
опьяняет московскую тьму.
Роца претерпевает упадок.
Вот и я покоряюсь ему.

Хорошо бы к такому началу
приписать благодушный конец,
например, о любви небывалой,
наслаждении верных сердец.
Или, скажем, о вечности. Я ли
не строчил скороспелых поэм
с неременной моралью в финале,
каруселью лирических тем!
Но увы, романтический дар мой
слишком высокомерен. Ценю
только вчуже подход лапидарный
к дешевизне земного меню.

Любомудры, глядящие кисло,
засыхает трава-лебедя.
Не просите у осени смысла —
пожалейте ее, господя.
Очевидно, другого подарка
сиротливая ищет душа,
по изгибам дурацкого парка
сердцевидной листвою шурша,
очевидно, и даже несложно,
но бормочет в ответ: "не отдам"
арендатор ее ненадежный,
непричастный небесным трудам.

4 СТИХОТВОРЕНИЕ

х х х

Отложена дуэль. От переспелой вишни
на пальцах алый сок. В ту пору без труда
ссужали время мне – но амба, годы вышли,
платить или бежать. Еще бы знать куда...

Долги мои, долги, убытки и протори
командировочные, справки, темный сон
о белом корабле на синем–синем море,
откуда сброшен я и в явь перенесен.

Там угловатый хрип, ограбленное лето –
и море ясное. И парусник белей
счетов, оплаченных такую же монетой,
что давний проигрыш моих учителей.

5 СТИХОТВОРЕНИЕ

х х х

В блокноте, начатом едва,
роятся юркие слова,
что муравьи голодным комом
у толстой гусеницы. Знать,
ей мотыльком уже не стать,
погибшей деве насекомой.

Хорош ли образ мой, Эраст?
Кусают, кто во что горазд,
друг другу ползают по спинам.
Осилят в несколько минут
и, напрягаясь, волокут
на корм личинкам муравьиным.

Бытует в Африке молва —
кто поедает сердце льва,
наследует его отваге.
Но до сих пор не видел я
ни мотылька из муравья,
ни слов, взлетающих с бумаги.

Искусство — уверяют — щель
в мир восхитительных вещей,
что не постичь рассудком чистым.
Я в этой области эксперт,
пускай зовет меня Лаэрт
неисправимым пессимистом.

Жар творчества и жар печной —
вот близнецы, мой друг родной.
Воспламеняясь повсеместно,
из жизни мертвое сырье
творят, чтоб превратить ее
в паек духовный и телесный.

6 СТИХОТВОРЕНИЕ

х х х

Нет, не безумная ткачиха
блуждает в кипах полотна —
ко мне приходит тихо-тихо
подруга старая одна,

в свечном огне, в кухонном дыме
играет пальцами худыми,
свистит растительный мотив,
к коленям голову склонив.

Я принесу вина и чая,
в неузнаваемой ночи
простую гостью угощая
всем, что имеется в печи,

но в город честный, город зыбкий,
где алкоголик и бедняк,
она уходит без улыбки,
благословенья не приняв,

и вслед за нею, в сердце ранен,
влачится по чужой земле
на тонких ножках горожанин,
почти невидимый во мгле.

7 СТИХОТВОРЕНИЕ

х х х

Дворами проходит, старье, восклицает, берем.
Мещанская речь расстилается мшистым ковром
по серой брусчатке, глухим палисадникам, где
настурция, ирис и тяжесть шмелей в резеде.

Подвальная бедность, наследие выпренных лет...
Я сам мещанин – повторяю за Пушкиным вслед –
и мучаю память, опять воскресить не могу
ковер с лебедями и замок на том берегу.

Какая работа! Какая свобода, старик!
Махнемся не глядя, я тоже к потерям привык,
недаром всю юность брезгливо за нами следил
угрюмый товарищ, в железных очках господин.

Стеклянное диво, лиловый аптечный флакон
роняя на камни, медяк на ладони держа, –
еще отыщу тебя, чтобы прийти на поклон –
владельца пистонов, хлопушек, складного ножа...

8 СТИХОТВОРЕНИЕ

х х х

Дорожащий неведомым, длинною, рыжей
ниткой на рукаве,
слов не вяжет, не помнит, знай бусинки ниже,
озираясь на две

удрученные вечности, горькую с мокрой,
словно злая слеза.
И от солнца, летящего в пыльные окна,
прикрывает глаза.

Современникам, сцепщикам – быть молодыми,
видеть Лондон и Рим.
Незаметно умрешь, не расслышанный ими,
станешь ветром сырым

вырывать у растяпы на улице вешней
драгоценный билет
в первый ряд поздней осени, жизни кромешной,
в розовеющий свет.

Но не будет спектакля. Ни жеста, ни слова.
Ни меча–кладенца.
Засвистишь по привычке – смешно, бестолково,
и уже до конца

шорох, шелест, обиженный шепот метели
станут речью твоей,
мелкий горный ручей в середине апреля –
пир воды и камней.

9 СТИХОТВОРЕНИЕ

х х х

А. В.

Век обозленного вздоха,
провинциальных затей.
Вот и уходит эпоха
тайной свободы твоей.
Вытрем солдатскую плошку,
в нечет сыграем и чет,
серую глядя обложку
книги за собственный счет.

Помнишь, как в двориках русских
мальчишки, дети химер,
скверный портвейн без закуски
пили за музыку сфер?
Перегорела обида.
Лопнул натянутый трос.
Скверик у здания МИДа
пыльной пылью зарос.

В полупосмертную славу
жизнь превращается, как
едкие слезы Исава
в соль на отцовских руках.
И устающее ухо
слушает ночь напролет
дрожь уходящего духа,
цепь музыкальных длиннот...

10 СТИХОТВОРЕНИЕ

х х х

Всадник въезжает в город после захода солнца.
Весело и тревожно лошадь его несется.
Всадник звенит булатом, словно кого-то ищет.
Не надрывайся, милый, не обессудь, дружище.

Город лежит в руинах, выцветший звездный полог
молча над ним сдвигает бережный археолог.
Стены его и рамы – только пустые тени,
дыры, провалы, ямы в пятнах сухих растений.

То, что дорогой длинной в сердце не отшумело,
стало могильной глиной, свалкою онемелой.
В городе визг шакала, свист неумной птицы.
Весть твоя опоздала. Некому ей дивиться.

Тень переходит в сумрак, перетекает в пламя.
Всадник, гонец бесшумный, тихо кружит над нами.
В пыльную даль летящий, сдавшийся, безъязыкий,
с серой улыбкой, спящей на просветлевшем лице.

11 СТИХОТВОРЕНИЕ

х х х

Хорошо на открытии ВСХВ
духовое веселье.
Дирижабли висят в ледяной синеве,
и кружат карусели.

Осыпает салютом и ливнем наград
пастуха и свинарку.
Голубые глаза государства горят
беспокойно и ярко.

Дай-ка водочки выпьем – была не была!
А потом лимонаду.
На комбриге нарядная форма бела,
все готово к параду.

И какой натюрморт – угловой гастроном,
в позолоченной раме!
Замирай, зачарованный крымским вином,
семгой, сельдью, сырами.

И божественным запахом пряной травы –
и топориком в темя –
чтобы выгрызло мозг из своей головы
комсомольское племя.

12 СТИХОТВОРЕНИЕ

х х х

Киноархив мой, открывшийся в кои-то
веки, — трещи, не стихай.
Я ль не поклонник того целлулоида,
ломкого, словно сухарь.
Я ли под утро от Внукова к Соколу
в бледной, сухой синеве...
Я ль не любитель кино одинокого,
как повелось на Москве —
документального, сладкого, пьяного, —
но не велит Гераклит
старую ленту прокручивать заново —
грустно, и сердце болит.

Высохла, выцвела пленка горячая,
как и положено ей.
Память продрогшая больше не мучает
блудных своих сыновей.
Меркнут далекие дворики-скверики,
давнюю ласку и мат
глушат огромные реки Америки,
темной водою шумят.
И, как считалку, с последним усилием
бывший отличник твердит:
этот — в Австралию, эта — в Бразилию,
эта — и вовсе в Аид.
Вызубрив с честью азы географии
в ночь перелетных хлопот,
чем же наставнику мы не потрафили?
Или учебник не тот?

х х х

Любому веку нужен свой язык.
Здесь Белый бы поставил рифму "зык".
Старик любил мистические бури,
таинственное золото в лазури,
поэт и полубог, не то что мы,
изгнанник символического рая,
он различал с веранды, умирая,
ржавяющие крымские холмы.

Любому веку нужен свой пиит.
Гони мерзавца в дверь – вернется через
окошко. И провидческую ересь
в неистой печали забубнит,
на скрипочке оплачет времена
античные, чтоб публика не знала
его в лицо, – и молча рухнет на
перроне Царскосельского вокзала.

Еще одна: курила и врала,
и шапочки вязала на продажу,
морская дочь, изменница, вдова,
всю пряжу извела, чернее сажи
была лицом. Любившая, как сто
сестер и жен, веревкою бесплатной
обвязывает горло – и никто
не гладит ей седеющие патлы.

Любому веку... Брось, при чем тут век!
Он не длиннее жизни, а короче.
Любому дню потребен нежный снег,
когда январь. Луна в начале ночи,
когда июнь. Антоновка в руке
когда сентябрь. И оттепель, и сырость
в начале марта, чтоб под утро снилась
строка на неизвестном языке.

14 СТИХОТВОРЕНИЕ

х х х

Каждому веку нужен родной язык,
каждому сердцу, дереву и ножу
нужен родной язык чистоты слезы —
так я скажу и слово свое сдержу.

Так я скажу и молча, босой, пройду
неплодородной, облачную страной,
чтобы вменить в вину своему труду
ставший громоздким камнем язык родной.

С улицы инвалид ухом к стеклу приник.
Всякому горлу больно, всякий слезится глаз,
если ветшает век, и его родник
пересыхает, не утешая нас.

Камни сотрут подошву, молодость отберут,
чтоб из воды поющий тростник возрос,
чтобы под старость мог оправдать свой труд
неутолимым кружевом камнетес.

Что ж — отдирая корку со сжатых губ,
превозмогая ложь, и в ушах нарыв,
каждому небу — если уж век не люб —
проговорись, забытое повторив

на языке родном, потому что вновь
в каждом живом предутренний сон глубок,
чтобы сливались ненависть и любовь
в узком твоём зрачке в золотой клубок.

х х х

Словно тетерев, песней победной
развлекая друзей на заре,
ты обучишься, юноша бледный,
и размерам, и прочей муре,

за стаканом, в ночных разговорах
насобачишься, видит Господь,
наводит иронический шорох –
что орехи ладонью колоть,

уяснишь ремесло человечесьё,
и еще наостришься, строка,
обихаживать хитрою речью
неподкупную твердь языка.

Но неожиданное что-то случится
за границей той чепухи,
что на гладкой журнальной странице
выдавала себя за стихи.

Что-то страшное грянет за устьем
той реки, где и смерть нипочем, –
серафим шестикрылый, допустим,
с окровавленным, ржавым мечом,

или голос заоблачный, или...
сам увидишь. В мои времена
этой мистике нас не учили –
дикой кошкой кидалась она

и корежила, чтобы ни бури,
ни любви, ни беды не искал,
испытавший на собственной шкуре
невозможного счастья оскал.

х х х

В долинном городе – пять церквей,
нестроен воскресный звон.
Вокзал дощатый давно в музей
истории превращен.
Здесь нет бездельников, нищих нет,
и мало кто смотрит вслед
несущей в гору велосипед
красавице средних лет.

За длинным списком бывших удач
и глупостей, за горой
далек и тих паровозный плач,
хрипящий, глухой, сырой...
И только рыбы спуют, легки,
в потоках прозрачной тьмы,
и друг за другом бегут холмы
по кругу, вперегонки.

Не убивайся – когда оглох
Бетховен, забыл ли он,
что после эха следует вдох
и после молчанья стон?
Дождись рассвета, проси дождя,
стальным колесом стучи,
опровергая и бередя
усвоенное в ночи.

Лавируя, выгибая хвост,
форель говорливых вод
немой свидетельницей плывет
среди охлажденных звезд.
И расстилается низкий вой
гудка над речной травой,
и заглушает его раскат
невидимый водопад...

х х х

Декабрьское небо взъерошено,
сомнительный воздух в груди,
и ты, дорогая, не трожь меня,
как Тютчев просил – не буди.

Не он, говоришь? Микеланджело?
Не ведая вечных забот,
рассветной дорожкой оранжевой
минутная стрелка ползет.

Но мокрой скатеркой полощется
душа, обвисает без сил,
влетая в промерзшую рощицу,
в ряды молчаливых осин,

корявые дупла, извилины,
палаты без ручки дверной –
опора и дятлу, и филину –
летающей твари земной.

Прости недотепу, которому
достался такой пьедестал,
чтоб зимнему певчему ворону
завидовать он перестал –

избавлен от тела тяжелого,
и час позабыв, и число, –
пусть дремлет, пернатую голову,
под черное спрятав крыло.

х х х

— Эй, каменщик в фартуке!

Что ты возводишь?

— Вали-ка, дурак,
я занят серьезной работой,
секретною, бесповоротной,
не для либеральных зевак.

Но с прежней писательской страстью
канючит властитель сердец.
Он ищет вселенского счастья,
гуманный, взыскательный мастер,
общественных нравов боец.

Не лучше ль ему отравиться,
когда, взбеленившись, плебей
вонзает вязальную спицу
в глаза очевидцу, провидцу
и, если прикажут "убей", —

убьет. И солжет, не скрывая
бесстыжего взгляда. Но бард
настаивает, прозревая,
что жертвенность есть роковая
в раскладе божественных карт.

И вот — замирает у гроба
российской словесности. Ах,
ужель эта злая особа —
былая красотка, зазноба
в легчайших атласных туфлях?

А каменщик в кепке неброской,
творец государственных мест,
смывает с ладоней известку
и, выпоров сына-подростка,
говядину жесткую ест.

х х х

А. Ц.

Запрокинувший голову раб
застывает в восторге. Над ним
виноградные кисти горят
темно-розовым и золотым.

Хорошо. И свобода близка.
Но шестнадцать столетий подряд
звуков варварского языка
сторонился имперский закат.

И куда в эти годы ни кинь
одинокого взгляда – везде
обреченная славе латынь
распростерта в родильном труде.

Улетел нестораемый дым,
ослепив византийских детей.
И всю ночь твои пасынки, Рим,
голосят на могиле твоей.

х х х

Ледяной синевой обделенный,
лепит дерево слепорожденный
в разумении темном своем.
Хорошо ему жить, властелину
влажной, серой, фисташковой глины,
хорошо ему с Богом вдвоем.

Создавая на ощупь, по звуку
воплощение шумного бука,
и осины, и мгlistой луны
на ущербе, он счастлив до дрожи —
так творения эти похожи
на его сокровенные сны.

Двадцать лет уже он, не робея,
лепит дупла и листья — грубее
настоящих, но, веруя в труд
ради вечности, в глиняный воздух, —
жаль, что даже бездомные звезды
подаянья его не берут.

А учитель его терпеливый
шелестит облетающей ивой,
недовольною воет трубой,
обещая на обе сетчатки
навсегда наложить отпечатки
небывалой беды голубой.

Нам-то что? Мы и сами с усами.
Глина, глина у нас под ногтями,
мой читатель, — попробуй отмой.
Не ощупать поющей синицы —
и томится в трехмерной темнице
червоточина речи прямой.

21 СТИХОТВОРЕНИЕ

х х х

Законы физики высокой
мы постигаем с каждым днем:
крошится зуб, слабеет око,
вот-вот сорвемся, поплывем

мирами газовых скитаний,
и смерть положенной порой
стоит не райскими вратами,
а гнусной черною дырой.

Я огорчил тебя? Ну что ты!
Жизнь — это жизнь, ее не след
судить за ямы и пустоты
в вокзальной очереди лет.

Ведь умный физики не знает
и в биологии не спец.
Он незаметно умирает
и воскресает наконец.

Не узнаваемый живыми,
сжигает звезды по одной
и забывает даже имя,
своей печали ледяной...

22 СТИХОТВОРЕНИЕ

х х х

Безмянное небо. Зеленка, и йод,
и кармин. Запыленные липы
поредевшим кружком. И пластинка поет
допотопное, то, что могли бы

мы услышать с бобины чудовищного
агрегата и выпасть в осадок,
приговаривая "волшебство, волшебство",
на окраине шестидесятых,

в проржавевшей провинции мира, вдали
от вечерней фреоновой воли
метрополии, с привкусом черной земли,
и картошки, и дворницкой соли

на губах. Никого у подъезда. Кривой
тополек, перепаханный дворик.
До одышки шатаюсь крикливой Москвой,
не ищи, торопливый историк,

прошлогодного снега, когда поделом
надвигается осень немая,
и бурлишь, и витийствуешь задним числом,
все предчувствуя и принимая...

х х х

И темна, и горька на губах тишина,
надоел ее гул неродной –
сколько лет к моему изголовью она
набегала стеклянной волной.

Оттого и обрыдло копаться в словах,
что словарь мой до дна перерыт,
что морозная ягода в тесных ветвях
суховатую тайной горит.

Знать, пора научиться в такие часы
сырый воздух дыханием греть,
напевать, наливать, усмехаться в усы,
в запыленные окна смотреть.

Вот и дрозд улетает – что с птицы возьмешь.
Видишь, жизнь оказалась длинней
и куда неожиданней смерти. Ну что ж,
начинай, не тревожься о ней.

24 СТИХОТВОРЕНИЕ

х х х

За головокружительною далью,
где отдыхает житель неземной,

не ведая терпенья и страданья,
которые таскаются за мной, —

там хорошо, там в чаще бродит леший,
подругу зазывая калачом,

но человек, смешон и безутешен,
печалится — Бог ведает о чем.

Он раньше жил любовнее и проще,
прислушиваясь к дождику над рощей,

он выбирал меж ветром и огнем —
забудь о нем. Обнимемся, вздохнем —

и отвернемся. Знаешь эти окна
в вечернем небе — шепот сквознячка

иных миров, алмазные волокна,
холодный свет у самого зрачка?

Все это блажь, побочная работа
русалочьей болезни лучевой,

рисующей стоворчивые ноты
на влажной оболочке роговой...

х х х

Куда плывет громоздким кораблем
летучий град в бессоннице осенней?
То в дерево, то в озеро влюблен,
небритый мой зеркальный собеседник
по-рыбьи раскрывает черный рот –
а я молчу и глаз не подымаю.
Так беззаботно радио поет.
А у него мелодия немая
на языке, и в горле белена –
корабль плывет, сирены молодые
сидят на мачтах, жизнь еще влажна
еще легка, еще она – впервые...

Не за горами ранняя зима.
Рассеется туман, стукнется иней.
Один умрет, другой сойдет с ума,
как мотылек в бесхозной паутине,
И человек вздыхает, замерев.
Давно ему грозит зима другая,
все дни его и годы нараспев
на музыку свою перелагая.
А из краев, где жаркий водород
шлет луч на землю в реках и могилах,
глядит Господь – жалеет, слезы льет,
одна беда – помочь ему не в силах.

26 СТИХОТВОРЕНИЕ

х х х

Заела проза – но, увы, не та, что Достоевского давила. И если есть мечта – она проста, и, вероятно, неосуществима. Однако же, как просится в тюрьму, когда ночлежки надоели, бездомный негр – хотя б по одному стихотворению в неделю писать тебе и в очередь, сердясь, вставать на почте, многословный адрес надписывать и клеить марку... Связь времен распалась. Я тебе не нравлюсь? Я сам себе не нравлюсь. Голоса за стенкою хохочут и рыдают. Посмотришь на будильник – три часа. Черт подери. Бледнеет, пропадает мой бедный дар. Куда же он прибред ночами маломощными, зачем я заискиваю перед сентябрем, без лишних слов слетающим на землю? Какие письма – я уже привык к молчанью посерьезнее, подруга. А что за ним? Привычный черновик из рук моих выхватывает вьюга, – то улещает, то опять грозит, то, покрываясь темной позолотой, далекою, неумолимой нотой в заговоренном воздухе гудит...

27 СТИХОТВОРЕНИЕ

х х х

Жизнь, говоришь, утекает? Смешон, независим
нищий у автовокзала, стреляющий на
суп общепитовский, курево, марки для писем
без вести спинувшим. Из-под рубахи видна

грудь волосатая. Всякому он доброхоту
вязко твердит о своих злключениях в том
северном крае, где сердце впрягают в работу
и осеняют бродягу казенным крестом.

Ах, никаких-то героев у повести лживой,
кроме любви да десятка растерянных лет.
С горсточкой мелочи потной в ручище ленивой
Жить-поживать, оставляя улиточий след...

Газ выхлопной, беспризорная кошка в ограде
церкви, червивая груша, бутылочный звон
о холодеющий камень. По осени наш туняедец
зол, беспокоен, — знать, скоро отправится он

самым дешевым автобусом к южным широтам.
Разговори его. Нет, не капустой — тоской
смертною пахнет сентябрь, — уверяет, — чего там,
пусть утекает — но лучше водку морской.

х х х

В. Ерофееву

Расскажи мне об ангелах. Именно
о певучих и певчих, о них,
изучивших нехитрую химию
человеческих глаз голубых.

Не беда, что в землистой обиде мы
изнываем от смертных забот, —
слабосильный товарищ невидимый
наше горе на ноты кладет.

Проплывай паутинкой осеннею,
чудный голос неведомо чей, —
эта вера от века посеяна
в бесталанной отчизне моей.

Нагрешили мы, накуролесили,
хоть стреляйся, хоть локти грызи.
Что ж ты плачешь, оплот мракобесия,
лебединые крылья в грязи?

29 СТИХОТВОРЕНИЕ

х х х

Над огромною рекою в неподкупную весну
книгу ветхую закрою, молча веки разомкну,
различая в бездне чудной проплывающий ледок –
сине-серый, изумрудный, нежный, гиблый холодок,

Дай пожить еще минутку в этой медленной игре
шумной крови и рассудку, будто брату и сестре,
лед прозрачнее алмаза тихо тает там и тут,
из расширенного глаза слезы теплые бегут.

Я ли стал сентиментален? Или время надо мной
в синем отлито металле, словно колокол ночной?
Время с трещиной мятной в пересохшем языке
низким звуком невозвратным расцветает вдалеке.

Нота чистая, что иней, мерно тянется, легка –
так на всякую гордыню есть великая река,
так на кровь твою и сердце ляжет тощая земля
тамады и отщепенца, правдолюбца и враля.

И насмешливая дева, темный спрятав камертон,
начинает петь с припева непослушным смерти ртом,
и, тамбовским волком воя, кто-то долго вторит ей,
словно лист перед травкою в небе родины моей.

30 СТИХОТВОРЕНИЕ

х х х

Ах, карета почтовая, увлеченная пургой,
что летишь, не узнавая древней двери дорогой?

Там, за нею, стонет спящий, вспомнив в дальней стороне
пол гостиничный скрипящий, солнце алое в окне,

вечный сон, который начат, словно повесть без конца,
и в ладонях складки прячет безымянного лица...

Выступай же из тумана месяц медный, золотой,
вынимая из кармана ножик в ржавчине густой —

это жизнь моя под утро с беленой мешает мед
и перо ежеминутно в руки белые берет,

тщится линию ночную снять с невидимых лекал, —
и рыдает, и ревет к низким, влажным облакам.

х х х

Первый погон или пряный посол –
что ты там нагородил?
Птичий язык индевеющих сел
тих и не переводим

Медленно спит обнаженный простор.
Немолодой инвалид,
молча ударив стаканом об стол,
в мерзлое небо глядит,

а по земле проступает зима.
И над дорогой кривой
молча качает часовня с холма
луковую головой.

Что же ты учишь, ночной человек,
пальцами веки прикрыв,
трудную речь остывающих рек
и коченеющих ив?

Что ты выводíš в несмежных мирах
линии на пятерне –
лисье убежище, волчий овраг,
заячий гон по стерне?

х х х

Тонких нот звуковой лепрозорий,
крючковатые оси ключей,
отворившие зимние зори
и прославленный воздух ничей,

словно склеп, словно вены, в которых
бедный свет среди серых пустот,
тяжелея в немых разговорах,
виноградным дыханьем растет –

и в ночах опаленных, опальных,
где закат в темноту перелит,
сочинитель игрушек хрустальных
пересохший язык шевелит

Не усвоив его партитуры, –
кто в меху, кто в защитном сукне, –
русской речи слепые фигуры
безнадежно толпятся в окне,

и за ними – за спинами, снами
и гробами – гремит неживой,
развернувший венозное знамя,
прокаженный оркестр духовой,

знаменатель играет в числитель,
тонут ноты в цифири густой,
не умея создать заменитель
раскаленной мелодии той...

х х х

Где серебром вплетен в городской разброд
голос замерзший флейты, и затажной
лед на губах в несладкий полон берет
месяц за годом – поговори со мной.

Пусть под студеным ветром играет весть
труб петербургских темным декабрьским днем,
пусть в дневнике сожженном страниц не счесть,
не переспорить, не пожалеть о нем

сердце в груди гнездится, а речь – извне,
к свету стремится птица, огонь – к луне,
завороженный, темный костер ночной,
вздروгни, откликнись, поговори со мной,

пусть золотистый звук в перекличке уст
дымом уходит к пасмурным небесам –
пусть полыхнет в пустыне невзрачный куст –
и Моисей не верит своим глазам.

х х х

...не ищи сравнении – они мертвы,
говорит прозаик, и воду пьет,
а стихи похожи на шум листвы,
если время года не брать в расчет,

и любовь похожа на листьев плеск,
если вычесть возраст и ветра свист,
и в ночной испарине отчих мест
багровеет кровь – что кленовый лист,

и следов проселок не сохранит –
а потом не в рифму мороз скрипит,
чтобы сердце сжал ледяной магнит, –
и округа дремлет, и голос спит –

для чего ты встала в такую рань?
Никакого солнца не нужно им,
в полутьме поюшим про инь и янь,
черный с белым, ветренный с золотым...

х х х

Пока наверху без обиды и гнева
закатная льется река,
и злое отечество, гиблое небо,
на запад несет облака —

мой вольнолюбивый товарищ настроит
гитару, и бронзовый звук
взовьется, исчезнет за черной горою —
что хищная птица из рук.

И схватятся в воздухе сокол и ястреб,
взыграет латунная медь,
и будет он петь офицерские астры
и страсти советские петь.

Валяй, гитарист, без унынья и фальши
бывалые вспомним слова,
мы песенку спели, а дальше? А дальше
дрожит, ни жива, ни мертва,

безумная женщина в черном платочке
в своем одиноком углу,
на зеркальце дышит, и зыбкие строчки
без музыки шепчет во мглу.

х х х

Европейцу в десятом колене
недоступна бездомная высь
городов, где о прошлом жалели
в ту минуту, когда родились,

и тем более горестным светом
вертоград просияет большой
азиату с его амулетом
и нечаянной смертной душой.

Мимо каменных птиц на карнизах
коршун серый кидается вниз,
где собачьего сердца огрызок
на перилах чугунных повис.

Там цемент, перевязанный шелком,
небеленого неба холсты,
и пора человеческим волком
перейти со Всевышним на ты.

И опять напрягается ухо —
плещет ветер, визжит колесо, —
и постыла простая наука
не заглядывать правде в лицо.

х х х

Е. И.

Уходит звук моей любимой беды, вчера еще тайком
зрачком январским, ястребиным горевшей в небе городском,
уходит сбивчивое слово, оставив влажные следы,
и ангелы немолодого пространства, хлеба и воды
иными заняты делами, когда тщедушный лицедей
бросает матовое пламя в глаза притихших площадей.

Проспекты, линии, ступени, ледышка вместо леденца.
Не тяжелее детской тени, не дольше легкого конца –
а все приходится сначала внушать неведомо кому,
что лишь бы музыка звучала в морозном вытертом дыму,
что в крупноблочной и невзрачной странице, отдающей в жуть,
и даже в смерти неудачной любовь особенная есть.

А кто же мы? И что нам снится? Дороги зимние голы,
в полях заброшенной столицы зимуют мертвые щеглы.
Платок снимая треугольный, о чем ты думаешь, жена?
Изгибом страсти отглаженной ночная твердь окружена,
и губы тянутся к любому, кто распевает об одном,
к глубокому и голубому просвету в небе ледяном...

х х х

То могильный морозец, то ласковый зной,
то по имени вдруг позовут.
Аметистовый свет шелестит надо мной,
облака молодые плывут.

Не проси же о небе и остром ноже.
не проси, выбиваясь из сил, –
посмотри, над тобою стустился уже
вольный шум антрацитовых крыл.

И ему прошепчу я, – души не трави
человеку, ты знаешь, что он
для насущного хлеба и нищей любви,
и щенячьего страха рожден,

пусть поет о тщете придорожных забот,
земляное томит вещество –
не холоп, и не цезарь, и даже не тот,
кто достоин суда твоего...

Но конями крылатыми воздух изрыт,
и возница, полуночный вор,
в два сердечных биения проговорит
твердокаменный свой приговор.

39 СТИХОТВОРЕНИЕ

х х х

Пой, шарманка, ушам нелюбимым – нерифмованный воздух притих,
освещен резедой и жасмином европейских садов городских,

подпевай же, артист неречистый со зверьком на железной цепи,
предсказуемой музыке чистой, прогони ее или стерпи,

что ты шуришься, как заведенный, что ты слышишь за гранью земной,
в голосистой вселенной бездонной и короткой, как дождь проливной?

Еле слышно скрипят кривошпы, шестеренки и храповики,
шелестят елисейские липы, нелетучие ноты легки,

но шарманщику и обезьяне с черной флейтою наперевес
до отчаянья страшно зиянье в стреловидных провалах небес,

и сужается шум карнавала, чтобы речь, догорая дотла,
непослушного короновала и покорного в небо вела.

х х х

Земли моей живой гербарий! Сухими травами пропах
ночной приют чудесных тварей – ежей, химер и черепах.
Час мотыльков и керосинок, осенней нежности пора,
пока – в рябинах ли, в осинах – пропащий ветер до утра
листву недолгую листает, и под бледнеющей звездой
бредут географ, и ботаник, и обвинитель молодой.

Бредут в неглаженной рубашке среди растений и зверей,
тщась обветшалый амфибрахий и архаический хорей
переложить, перелопатить, – нет. я не все еще сказал –
оставить весточку на память родным взволнованным глазам,
и совы, следуя за ними и подпевая невпопад,
теньями темными, двойными над рощей волглою летят.

Чем обреченнее, тем слаще. Пространства считанные дни
в корзинку рощи уходящей не пожалеют бросить ни
снов птичьих, ни семян репейных, ни ботанических забот.
Мятежной твари оружейник сапожки новые скует,
на дно мелющего моря ложится чистый, тонкий мел,
и смерти тождество прямое ломает правильный размер.

Не зря ли реки эти льются? Еще вскипит в урочный час
душа, отчаявшись вернуться в гербарий, мучающий нас.
Пустое, жизнь моя, пустое – беречь, надеяться, стеречь.
Еще под пленкой золотою долгоиграющая речь
поет – а луч из почвы твердой жжет, будто молнии пришли
сквозь кровеносные аккорды угрюмых жителей земли.

2.08.90

х х х

1

Стало молчание золотом – влажный хаос языка
высох на солнце, проколотый, будто листок табака,
вскрылась в ларце червоточина, – но и пространству черед
сложенным стать, озабоченным – кто его скроит, прошьет,
кто сквозь замочную скважину – в доме уже никого –
крикнет, что стала разглаженной всякая складка его?
Ступятся ножницы, стукнется с лету в стекло воробей.
Плакальщицей ли, заступницей встанет любовь у дверей,
справа налево протянется ниточка жизни смешной.
Речка, недвижимая странница, выбежит в город ночной.

2

Справа налево протянется ниточка жизни дурной,
речь, неподвижная странница, город пронижет родной,
роща вздохнет онемелая, ветвь задрожит у огня,
что я неправильно делаю? что ты берешь у меня?
Спят заведенья питейные. Время хмельное прошло.
Надо бы выучить швейное, а не разрыв–ремесло,
или уж, – веровать в истину и ни черта не уметь –
только широкими листьями в кроне дубовой шуметь,
на расстоянии выстрела от лесопильных работ,
там, где безумец у пристани чудную песню поет.

42 СТИХОТВОРЕНИЕ

х х х

Забытого промысла малая часть, дитя за стеклянной стеной,
несложную жизнь доживает, кичась свободой своей потайной –

но древо познания Ева потряхнет, под змеем прогнется лоза –
из шестиугольных оберточных сот колючие грянут глаза –

есть царство шафраново-черных полос, где твой добросовестный труд
воспетые смертником челюсти ос в бумажную массу сгрызут.

А ты накануне еще проклянешь двусмысленной бедности гнет, –
с ножом нержавеющей бронзовый нож скрестившись, на солнце блеснет,

и вдруг озарит – никогда и нигде, У зеркала пальцы болят,
неслышная рябь на узорной воде лицо растворяет и взгляд,

и если без воздуха сердце живет – то влагу сентябрьскую пьет,
последняя истина пасмурных вод колеблет его переплет –

ленивые плети русалочьих трав спускаются над головой,
и рыбий язык по-осеннему прав, раздвоенный и неживой...

х х х

Седина ли в бороду, бес в ребро —
завершает время беспутный труд,
дорожает тусклое серебро
отлетевших суток, часов, минут,

и покуда Вакх, нацепив венки,
выбегает петь на альпийский луг —
из-под рифмы автор, членистоног,
осторожным глазом глядит вокруг.

Что случилось, баловень юных жен,
удалой ловец предрассветных слез,
от кого ты прячешься, поражен
чередой грядущих метаморфоз?

Знать, душа испуганная вот-вот
в неживой воде запоздалых лет
сквозь ячейки невода проплывет
на морскую соль и на звездный свет

за изгибом берега не видна,
обдирает в кровь плавники свои —
и сверкают камни речного дна
от ее серебряной чешуи.

х х х

Обманывая всех, переживая,
любовники встречаются тайком

в провинции, где красные трамваи,
аэропорт, пропахший табаком,

автобус в золотое захолустье,
речное устье, стылая вода.

Боль обоймет, процарствует, отпустит —
боль есть любовь, особенно когда,

как жизнь, три дня проходит, и четыре,
уже часы считаешь, а не дни.

Он говорит: "Одни мы в этом мире".
Она ему: "Действительно одни".

Все замерло — гранитной гальки шелест,
падение вороньего пера,

зачем я здесь, на что еще надеюсь?
"Пора домой, любимая". — "Пора",

Закрыв глаза и окна затворяя,
он скажет "Ветер". И ему в ответ

она кивнет. "Мы изгнаны из рая".
Она вздохнет и тихо молвит "Нет".

45 СТИХОТВОРЕНИЕ

х х х

Молоко ли в крынке топится, усыхает ли душа –
жизнь к могиле не торопится, долгим временем дыша.

Ей делить с распадом нечего – вот и судит опрометчиво,
медлит, в дудочку дудит, упражняется в иронии,
напевает постороннее, молча в зеркальце глядит.

Сквозь ее разноголосицу понемногу в мир иной
легким мусором уносится голос выстраданный мой,
вьется ветер обтекаемый – и голодная стрела
между Авелем и Каином млечным лезвием легла.

Одному – листвою осеннею в растворенное окно
ради медленного чтения книг, написанных давно,
а другому – вроде выкрика в поле скошенном, пока
икса крест и вилка игрека душевной страстью игрока

вяжут нищее сознание безобидного создания
с горлом, глазом, головой – брата скорби мировой...

х х х

Когда безлиственный народ на промысел дневной
выходит в город нефтяной и за сердце берет
несытой песенкой, когда в один восходят миг
польнь—трава и лебеда в полях отцов твоих,
чего же хочешь ты, о чем задумался, дружок?
Следи за солнечным лучом, пока он не прожжет
зрачка, пока еще не все застыли в глыбах льда,
еще, как крысе в колесе, тебе невесть куда
по неродной бежать стране вслепую, напролом,
и бедовать наедине с бумагой и огнем.

Век фараоновых побед приблизился к концу,
безглазый жнец влачится вслед небесному птенцу,
в такие годы дешева — бесплатна, может быть, —
наука связывать слова и звуки терebить,
месить без соли и дрожжей муку и молоко,
дышать без лишних мятежей, и умирать легко.
Быть может, двести лет пройдет, когда грядущий друг
сквозь силу тяжести поймет высокий, странный звук
не лиры, нет — одной струны, одной струны стальной,
что ветром веры и вины летел перед тобой.

х х х

Человек, продолжающий дело отца,
лгущий, плачущий, ждущий конца ли, венца,
надьшавшийся душной костры,
ты уже исчезаешь в проеме дверном,
утешая растерянность хлебным вином,
влажной марлей в руках медсестры.

Сколько было слогов в твоём имени? Два.
Запиши их, садовая ты голова,
хоть на память — ну что ты притих,
наломавший под старость осиновых дров
рахитичный детеныш московских дворов,
перепаханых и нежилых?

Перестань, через силу кричащий во сне
безнадёжный должник на заемном коне,
что ты мечешься, в пальцах держа
уголек, между тьмою и светом в золе?
Видишь — лампа горит на пустынном столе,
книга, камень, футляр от ножа.

Только тело устало. Смотри, без труда
выпадает душа, как птенец из гнезда,
ты напрасно её обвинил.
Закрывай же скорей рукотворный букварь —
чтобы крови творца не увидела тварь,
в темноте говорящая с Ним.

х х х

Пчелы, стрекозы, осы ли – высохли. Но плывут
осени тонкой посулы – поздний паучий труд, –
так и зовут проститься и ахать Бог знает где
сахарною крупицею в стылой ночной воде.

Что же земля упрямая, не принимая нас,
сланцем и черным мрамором горбится в поздний час?
Выстрадана, оболгана, спит на своем посту,
горной дорогой долгою выскользнув в высоту.

И, закружившись с листьями, выдохнет нараспев –
вот тебе свет и истина, а остальное – блеф.
Сердце мое, летящее сквозь водородный рой,
сладко ли в звездной чаше, тесно ль в земле сырой?

49 СТИХОТВОРЕНИЕ

х х х

Душа стеклянная, кого ты ждешь, звеня?
Смотри, расходятся любившие меня,

бледнеет дальний свет, слабеет львиный рык,
глодает океан гранитный материк,

но помнит вольный волк и ведаёт лиса
хруст шейных позвонков при взгляде в небеса,

а ты все силишься, все целишься в упор —
душа бубновая, железный уговор...

х х х

Незаметно отстроился праздничный град,
и кирпичные стены, и башенки в ряд,
заиграло на солнце цветное стекло –
и пяти-то веков не прошло...

Что же вздрогнуло сердце? Что мучает ум?
Кочевой ли свободы наследственный шум?
Или солоно стало подружке твоей –
океанских, маньчжурских кровей?

Будет, станет, отмаялось, перетекло,
совершенным глаголом в могилу легло,
золотые остались слова поутру
бормотать, да курить на ветру.

А сентябрь расстилагает для нас, дураков,
небеленую ткань городских облаков,
и сшивает ее от угла до угла
колокольни сухая игла...

х х х

Полно мучиться сном одноглазым.
Вены вспухли, стухнула слеза.
С медной бритвой и бронзовым тазом
в дверь стучится цирюльник, а за

ним – буран, и оконная рама,
и ящик в астраханской степи,
равнодушная звездная яма
и отцовское – шепотом – "спи".

Спи – прейдет не нашедшая крова
немота, и на старости лет
недопроизнесенное слово
превратится в медлительный свет,

и пустыня, бессонная рана,
заживает – и время опять
говорящую глину Корана
онемельми пальцами мять.

х х х

... и даже этот черный вечер
не повторится — лишь огнем
горит, когда сиротству нечем
утешиться, пускай вином

стакан наполнен или бледной
водой — закатный привкус медный
в воде мерещится, в воде —
холодной, лживой. И нигде

не встретиться. Безумно краток
наш бедный пир, но видит Бог —
в могильной глине отпечаток
любви, как клинопись, глубок.

х х х

Заснет мелодия, а нотам не до сна.
Их редкий строй молчит, не понимая,
куда бежит волна, зачем она одна,
когда уходит ключевая

речь к морю синему, где звуков кротких нет,
где пахнет ветром и грозой,
и утвердился в камне хищный след
триаса и палеозоя.

Да и на чей положены алтарь
небесные тельцы и овны,
кто учит нас осваивать, как встарь,
чернофигурный синтаксис любовный?

Так тело к старости становится трезвей,
так человек поет среди развалин,
и в отсвете костра невесел всякий зверь,
а волк особенно печален.

17 АВГУСТА 1991 г.

х х х

Словно выхлоп, что ноша, упавшая с плеч,
начинается разгоряченная речь,
черной музыкой плещет, и рвется вперед,
пересохшее горло дерет...

Словно пьяный в железнодорожном купе,
словно бывший диктатор в народной толпе,
воскрешает слова, убивает слова,
истеричной любовью и гневом жива...

И рассеется, выстрелив в воздух ничей,
даже самая злая из этих речей,
даже самая добрая обречена –
видно, зря горячится она,
зря стремится, под тесные своды сходя,
молотком или камнем по шляпке гвоздя
от похмельных своих, от прощальных щедрот
звуковой припечатать разброд...

И не стоит у Бога просить за труды
ни холодной звезды, ни болотной воды,
только темная смерть, только тленье само
снимет с сердца такое клеймо...
лучше сразу, приятель, прощенья проси
и прощания, как повелось на Руси,
речь живая угодна Ему одному,
охладевшая же – никому...

х х х

Речь о непрочности, о ненадежности. Речь
о чернолаковой росписи в трещинах, речь о
мутных дождях над равниною, редкости встреч,
о черепках в истощенной земле Междуречья,

слово о клинописи, о гончарном труде,
вдавленных знаках на рыжей, твердеющей глине,
о немоте, о приземистом городе, где
на площадях только звонкие призраки, и не

вспомнить, о чем говорил им, какая легла
тяжесть на эти таблички, на оттиск ладони
с беглым узором, какая летела стрела
в горло покойному воину — больше не тронет

горла стрела, лишь на зоркой дороге в Аид
бережно будет нести по скрипучим подмосткам
сизое время разрозненный свой алфавит
глиняных линий на нотном пергаменте жестком.

22 ноября 1990 — 21 июля 1991

Х Х Х

Ты вспомнил – розовым и алым
закат нам голову кружил,
протяжно пела у вокзала
капелла уличных светил,
и, восхищаясь жизнью скудной,
любой, кто беден был и мал,
одной любви осколок чудный
в холодной варежке сжимал?

Очнись – и снова обнаружишь
ошеломляющий приход
зимы. Посверкивают лужи,
сквозит кремнистый небосвод.
По ящикам, по пыльным полкам
в садах столицы удалой
негласный месяц долгим волком
плывет над мерзлой землей.

Зачем, усталый мой читатель,
ты в эти годы не у дел?
Чье ты наследие растратил,
к какому пенью охладел?
И неумен, и многодумен,
погрязший в сумрачном труде,
куда спешишь в житейском шуме
по индевеющей воде?

А все же главных перемен ты
еще не видел. Знаешь, как
воспоминанья, сантименты,
и город – выстрел впопыхах, –
и вся отвага арестанта,
весь пир в измученной стране
бледнеют перед тенью Данта
на зарешеченном окне?

Потянет дымом и моченой
антоновкой. Опять душа
уязвлена, как зверь ученый –
отрывками карандаша,
и на бумаге безымянной,
кусая кончик языка,
рисует пленной обезьяной
решетку, солнце, облака...

х х х

Среди миров, в мерцании светил...

Иннокентий Анненский

Сколько звезд роняет бездонный свет,
столько было их у меня,
и одной хватило на сорок лет,
а другой на четыре дня.

И к одной бежал я всю жизнь, скорбя,
а другую не ставил в грош.
И не то что было б мне жаль себя —
много проще все. Не вернешь

ни второй, ни первой, ни третьей, ни —
да и что там считать, дружок.
За рекой, как прежде, горят огни,
но иной уголек прожег

и рубаху шелковую, и глаз,
устремленный Бог весть куда.
И сквозь сон бормочу в неурочный час —
до свиданья, моя звезда.

х х х

Тихо время утекает, убегает дотемна.
Осетра в бока толкает сернокислая волна.
Но опять в зените года суеверный человек
след пропавшего народа берегами сонных рек,
словно лося или волка ищет, думая слегка,
где шумят болгарка Волга и угорская Ока.

Он зовется археолог, он уверен, говорят,
что отыщет древний волок от Эллады до варяг,
где играл рожок военный, где купец пускался в путь,
и стучал юрод блаженный кулаком в седую грудь,
и сияло ночью пламя берегами, не солгать,
и трещала под ладьями ладно сложенная гать,

чтобы стал он академик, знаменитый меж людей,
дай ему, отчизна, денег на лопаты и на клей –
черепки он будет клеить, вымыв мертвою водой,
и историю лелеять на ладони молодой,
чтоб в рубахе бумазейной любознательный монах
размышлял в тиши музейной об ушедших временах.

х х х

...Кто же вступится за нас
в час печали, смертный час?
Богоматерь всех скорбящих,
вот кто вступится за нас.

Кто же будут эти мы,
вопиющие из тьмы?
Всевозможные народы,
вот что значит слово "мы".

Но зачем же Божья мать
всем им станет помогать?
По любви своей великой,
вот затем и помогать.

Всех, кто верует в Христа
перед снятием с креста,
и неверующих тоже
матерь Господа Христа

от разлуки и беды
поведет в свои сады,
где шумит межзвездный ветер,
в небывалые сады...

60 СТИХОТВОРЕНИЕ

х х х

Есть одно воспоминанье – город, ночь, аэродром,
где прожектора сиянье било черным серебром.

Наступал обряд отъезда за границу. Говорят,
что в те годы повсеместно отправляли сей обряд –

казнь, и тут же погребенье, слезы, и цветы в руке,
с перспективой воскрешенья в неизвестном далеке,

тряпки красные повсюду – ах, как нравился мой страх
государственному люду с отрешенностью в глазах,

и пока чиновник ушлый кисло морщил низкий лоб –
раскрывался гроб воздушный, алюминиевый гроб.

Полыхай, воспоминанье – холод, тьма, аэропорт,
как у жертвы на закланье, шаг неволен и нетверд,

сердце корчится неровно, легкой крови все равно –
знай течет по жилам, словно поминальное вино, –

только я еще не свыкся с невозвратностью, увы,
и, вступив на берег Стикса в небе матушки–Москвы,

разрыдался, бедный лапоть – и беспомощно, и зло,
силясь ногтем процарапать самолетное стекло,

а во мгле стальной, подвальной уплывала вниз земля,
и качался гроб хрустальный, голубого хрусталя...

Проплывай, воспоминанье – юность, полночь, авион.
Отзвук счастья и страданья, отклик горестных времен,

где кончалась жизнь прямая в незапамятном раю,
к горлу молча прижимая тайну скорбную свою...

61 СТИХОТВОРЕНИЕ

х х х

Погас империи бутылочный осколок.
Устал несильный свет в умолкших птичьих школах,

то прозвенит трамвай, то юркий самолет
в безлунных небесах несльшно курс возьмет

на дальний Запад ли, где звезды, словно свечи,
убежища искать от среднерусской речи?

На дальний ли Восток, где так кровав восход?
Ну что замешкался? Чего твой ангел ждет?

О чем поешь, не спишь, покорно пролетая
сквозь время – алое, как ягода лесная?

Тебе, вздыхающему "amo ergo sum"
над сроком, прожитым захлеб и наобум, –

уже недолго плыть по облачным дорогам,
и с Богом говорить... и расставаться с Богом.

х х х

С. К.

Окраина – сирень, калина,
окалина и окарина,
аккордеон и нож ночной.
Кривые яблони, задворки,
враги, подростки, отговорки,
разборки с братом и женой.

Лад слободской в рассрочку продан,
ветшает сердце с каждым годом,
но дорожает, словно дом,
душа – и жителю предместья
не след делиться бедной честью
с небесным медленным дождем,

переживая обложные,
обльжные и ледяные
с утра, двадцатого числа.
Дорогою в каменоломню
ты помнишь радугу? Не помню.
Где свет? Синица унесла.

Устала, милая? Немножко.
В ушах частушка ли, гармошка,
луной в углу озарена
скоропечатная иконка.
Играй, пластинка, тонко–тонко –
струись, сиянье из окна,

дуй, ветер осени – что ветер
у Пушкина – один на свете, –
влачи осиновый листок
туда, где птицам петь мешая,
зима шевелится большая
за поворотом на восток.

х х х

Выживай, выпивай – вот канва и игла,
двадцать лет удивительного ремесла –
чтобы ночью паучьей, пахучей
с неизвестною музыкой накоротке
задержаться у дома с ключами в руке,
и услышать – в невидимой туче

электричеством вывороченным громыхнет,
перекатится эхо, озоном пахнет,
и предместье падет на колени,
и ударит в рябину ленивый разряд,
и лиловыми искрами гроздя взлетят
той, наломанной в детстве сирени.

Отшумела душа, и оттешилась плоть,
но кому же глаза этой правдой колоть.
кто, неспешно листая дневник твой
с середины к началу, увидит, что там
день за днем по пустым проносился листам
волчьей стаей, постом и молитвой?

Не беда, говорит тебе гром, переждем,
чуешь, дрожь молодую под легким дождем,
где отыщешь дороже подарок?
Отчего же ты спички непрочные жжешь
и, на вспышку сощурившись, не бережешь
парафиновой жизни огарок?

х х х

Ничего, кроме памяти, кроме
озаренной дороги назад,
где в растерзанном фотоальбоме
пожелтевшие снимки лежат,

где нахмурился выпивший лишку
беззаконному росчерку звезд,
и простак нажимает на вспышку,
продлевая напыщенный тост, –

мы ли это смеялись друг другу,
пели, пили, давали зарок?
Дай огня. Почитаем но кругу.
Передай мне картошку, Санек.

Если времени больше не будет,
если в небе архангела нет –
кто же нас. неурочных, осудит,
жизнь отнимет и выключит свет?

Дали слово – и, мнится, сдержали.
Жаль, что с каждой минутой трудней
разбирать золотые скрижали
давних, нежных, отчаянных дней.

Так давайте, любимые, пейте,
подливайте друзьям и себе,
пусть разлука играет на флейте,
а любовь на военной трубе.

Ах, как молодость ластится, вьется!
Хорошо ли пируется вам –
рудознатцам, и землепроходцам,
и серебряных дел мастерам?

х х х

То эмигрантская гитара,
то люди злые за углом –
душа ли к старости устала
махать единственным крылом?

Залить водой таблетку на ночь.
припомнить древний анекдот...
Знать, Владислав Фелинианч
опять к рассвету подойдет.

Снимает плащ, снимает шляпу
и невозможный зонтик свой
в прихожей отряхает на пол,
а там. качая головой,

задвижку на окне нашарит,
шепнет: "Зачем же так темно?"
и тут же страшный свет ударит
в мое раскрытое окно.

И подымаюсь я с постели,
подобно Лазарю, когда
встают в подоблачном пределе
деревья, звери, города.

где все умершие воскресли,
где время стиснуто в кулак,
где тяжелы земные песни
в ржавеющих колоколах,

и над железной голубятней
гуляет голубь в вышине –
и день прекрасней и превратней,
чем мнилось сумрачному мне.

Пошли мне, Господи, горенья,
помилуй – бормочу – меня,
не прозы, не стихотворенья,
дай только горького огня –

и умолкаю без усилий,
и больше не кричу во сне,
где у окошка мой Вергилий –
худой, в надтреснутом пенсне.

х х х

Да будет каждому по вере.
Гудит продымленный вокзал,
дубовые выходят двери –
куда? И знал бы, не сказал.

Одно известно – не блаженство,
а испытанье, ангел мой.
Грустишь, взыскуешь совершенства,
скользишь меж городом и тьмой –

но даже в дружеской беседе
глядишь в октябрьское окно –
и к звездам волка и медведя
твое лицо обращено.

х х х

Пусть вечеру день не верит – светящийся, ледяной,
но левый и правый берег травой заросли одной –
пожухлой, полуживую, качающей головой, –
должно быть, игрец-травую, а может, дурман-травой.

А солнце все рдеет, тая, когда выдыхает "да"
река моя золотая, твердеющая вода,
и мокрым лицом к закату слабеющий город мой
повернут – хромой, горбатый и слепоглухонемой.

И мало мне жизни, чтобы почувствовать: смерти нет,
чтоб золото влажной пробы, зеленое на просвет,
как кровь, отливало алым – и с талого языка
стекала змеиным жалом раздвоенная строка.

х х х

Полжизни пройдет в романтических ссорах
с судьбою, да в водке с мороза,
когда и тебе перевалит за сорок –
рассеются поздние слезы,

и молвишь: довольно, служения ради,
испытывать грешное тело...
Белеют страницы старинной тетради.
Белы монастырские стены.

Что ж – отголосили слова, отолгали,
стекает росой по оврагу
бесшумное время расчета с долгами
за уголь, свинец и бумагу.

А воздух, похожий на воду речную,
течет – безоглядный, лиловый, –
покуда молчишь, свою гордость ревнуя
к непрочности шелка земного.

Лишь изредка вдруг пролепечешь на русском
наречии – хриплом, упорном –
о хрупкости, недолговечности, узком
луче между алым и черным.

И был ты писатель, а стал ты проситель,
как нищий у Божьего храма.
Простой человек, муравьиный строитель
любви из подручного хлама.

х х х

Что ты на щит черепаший, гадалыщик, глядишь?
Что нам сулят эти трещины в черной кости?

Как утомленно гадательный ропщет тростник —
нет, не в огонь им, не в море огромное лечь! —
рвутся в дошкольную землю созвездия книг,
чтобы взойти, обратясь в семиствольную речь,

чтобы выиграть, обрести огнестойкий размер,
и, под конец рассчитавшись с отчизной своей,
вдруг зазвенеть оправдательной музыкой сфер —
несуществующей, как полагал Птолемей.

Так, покрывая издержки судебные лишь
шелестом прошлого неба и потом со лба,
что ты на щит черепаший, гадалыщик, глядишь?
Что за рекой зазвучало, какая труба?

Будто черствеющий хлеб тяжелеет в руке,
и оживающим тестом вспухает дежа —
лишь бы дышала душа, на голодном пайке
жаркий язык и лукавые губы держа.

70 СТИХОТВОРЕНИЕ

х х х

Потому что в книгах старых жизнь ушедшая болит,
всякий миг ее в подарок слух и зрение опалит:
вод рассветных переливы, облысевшая гора,
серебристые оливы голубинога пера.

Но чудней всего на свете это озеро, смотри,
где закидывают сети молодые рыбаки,
труд и гордость Галилеи – видишь, среди высоких волн
их добыча, тяжелея, накреняет тесный челн?

Окликает их прохожий неизвестный человек,
Это сын любимый Божий, друг поэтов и калек.
И на тяжкий подвиг – много тяжелее тех сетей, –
он зовет во имя Бога незадачливых детей.

И в пророческом зеркале по грядущим временам
ходят ставшие ловцами и заступниками нам,
в вере твердой, словно камень, с каждым веком наравне
плещут рыбы плавниками в ненаглядной глубине.

Не горюй, не празднуй труса, пусть стоит перед тобой
чистый облик Иисуса в легкой тверди голубой,
пусть погибнуть мы могли бы, как земная красота,
но плывет над нами рыба – образ Господа Христа.

х х х

Было: медом и сахаром колотым –
чаепитием в русском доме, –
тонким золотом, жаром и холодом
наше время дышало во тьму,
но над картой неведомой местности
неизвестная плещет волна –
то ли Санкт–Петербург и окрестности,
то ли гамма в созвездии сна –
и окошки пустые распахнуты
в белокаменный вишневый сад,
где игрок в кипарисные шахматы
на последний играет разряд.

Пусть фонарь человека ученого
обнажил на разломе эпох,
что от белого неба до черного
только шаг, только взгляд, только вздох –
пусть над явной космической ямю,
где планета без боли плывет,
золотую покрыт амальгамою
крутокупольной истины свод –
пусть престол, даже ангелов очередь –
но учителя умного нет
объяснить это сыну и дочери,
только свет, улетающий свет.

Вот и все. Перебитые голени
не срастутся. Из облачных мест
сыплет родина пригоршни соли на
раны мертвые, гору и крест,
на недвижную тень настоящего –
костяного пространства оскал, –
отражения наши дробящего
в бесконечной цепочке зеркал.
Утро близится. Уголья залиты.
Поминальные свечи горят.
На каком ледяном карнавале ты,
брат мой давний, бестрепетный брат?

х х х

Огонь свистящий и шипящий.
Воды кипящей ореол.
Землей могильной рот звучащий
набит до самых альвеол.

И вместо рифмы – парной, пряной
одни сомнительные сны –
мост тоньше волоса над ямой
непостижимой глубины...

Очнись, не мудрствуя лукаво.
Огонь – огнем, и дымом – дым,
одним – прижизненная слава,
и ясновиденье – другим.

Тень сна с сияньем яви сложим –
увидим снег, и облака
с небесным ангелом, похожим
на паука–крестовика.

Он из земли, из крови влажной
соткал спасительную сеть –
скажи мне, как ему не страшно
в бездонном воздухе висеть?

х х х

... длись же, иночество, одиночество,
безответное, словно река,
пусть отчизна по имени-отчеству
окликает меня, далека,
все, чем с детства владею, не властвуя,
пусть, приснившись, исчезнет скорей,
осыпаясь вокзальной астрой
в толчее у вагонных дверей, —

я ни с чем тебя не перепутаю —
сколько юности плещется там! —
пролети электричкой продуктою
по остывшим чугунным путям,
хоть в Мытищи, хоть в Ново-Дивеево —
все уладится, только не плачь —
к отсыревшему серому дереву,
к тишине заколоченных дач,

и лесным полумесяцем, заново
расплетая кладбищенский лен,
над изгибом пути окаянного
покаянным пльви кораблем, —
только уговори, уведи меня,
подари на прощание мне
свет без возраста, голос без имени,
золотистые камни на дне...

х х х

Бой курантов ежечасный, снегопад в ночи густой.
Гражданин простой и частный смотрит сущим сиротой.

Отшумели годы детства, да и молодость того...
Где оно, его наследство, где уверенность его?

Горек труд его поденный, покоен зимний сон,
и очаг во тьме бездонной мокрым снегом занесен,

Только бедным небом тешит он свидетелей в суде,
только медным гребнем чешет в поседевшей бороде,

и в метельных сновиденьях вплоть до раннего утра
все-то грезит суммой денег миллиона в полтора...

Но ему ли – шелкоперу с ручкой вечною во рту –
отдадут по приговору воровство и простоту?

И покрыть дорогу нечем в незабвенный звукоряд,
где редящие свечи дачной осенью горят.

75 СТИХОТВОРЕНИЕ

х х х

Хочется спать, как хочется жить,
перед огнем сидеть,
чай обжигающий молча пить,
в чьи-то глаза глядеть.

Хочется жить, как хочется спать,
баловаться вином,
книжку рифмованную читать,
сидя перед огнем.

Пламя трещит, как трещит орех.
Лед на изнанке лет.
Вечной дремоты бояться грех,
и унывать не след,

Грецкий орех, и орех лесной.
Пламя мое, тайком
поговори, потрещи со мной
огненным языком,

поговори, а потом остынь,
пусть наступает мгла,
и за углом, как звезда-полынь,
зимняя ночь бела.

х х х

В дому, построенном тобой,
всю ночь гудит нагой –
голубоватый, голубой –
непрошенный огонь,

в твоём дому, как вещей знак,
сосновая доска
скрипит, и щурится сквозняк
чужого языка...

Ах, хватит высохшей скрипеть
трещать, на помощь звать.
Хотелось жить, хотелось петь,
мурлыкать, напевать.

Но ускользающая речь,
покинув спящий дом,
ржавеет, что булатный меч
на дне, на дне речном...

Ну кто там буйствует, стучит
в закрытое окно –
одно лишь небо, словно щит,
бессильному дано...

х х х

Изнывает жизнь в неволе,
голосит на склоне дней.
Головную болью, что ли,
оправдаться перед ней —
или честным стрелолостом
в долгой заводи больной,
или небом — серым, чистым —
над избушкой лубяной?

Закрывай скорее ставни,
потому что под окном
примостился старец давний
в длинном платье ледяном,
пальцы зябкие ослабли —
до рассвета будет он
в чашу лунную по капле
лить кровавый самогон.

Ах, как ясен день осенний —
но живое вещество
о грядущем воскресеньи
не узнает ничего,
и без спроса, без упрёка
перейдет его порог,
мастер горького барокко,
рога бычьего пророк.

Брось кудель в огонь, как было,
чтобы сердце все трудней
билось, билось и любило,
попыхая вслед за ней,
чтоб в печи искрилось время,
мучась собственной длиной...
Мы — бесчисленное племя
ветхой жалобы льняной —

только к гибели привыкли —
и доселе не поймем —
невозвратный черновик ли
плачет розовым огнем —
иль сияет о России
Богородица навзрыд?
Или солнце в гневной силе
ассирийское горит?

х х х

Что ты плачешь, современник,
что ты жалуешься, друг,
на нехватку медных денег,
на бессмысленный досуг?
Не ходи в кино, не надо,
водки импортной не пей –
в ней греховный привкус яда,
горечь дьявольских страстей.

Лучше бережно подумай
о грядущем, о былом.
Проржавел наш мир угрюмый,
не пора ль ему на слом!
Не о том ли пел в печали
прорицатель и мудрец,
что умел в любом начале
различить его конец?

Твердь разверзнется и треснет,
зашатается сосна,
плоть истлевшая воскреснет
от безвременного сна.
Бодрый друг и хмурый враг,
одолев внезапный страх,
заспешат в высокий город,
воссиявший на холмах.

Кто взликует, кто заплачет,
кто утрет предсмертный пот, –
и земля, как легкий мячик,
с траектории сойдет,
и пятном на звездной карте,
излучая мягкий свет,
понесется в бильярде
неприкаянных планет –

что же станет с плотью бедной?
Верно, вечной станет плоть,
так в любви своей безмерной
наградит ее Господь –
а земля все стынет, стынет,
спит пророк, приняв вина.
Ветер зябнущей пустыни,
месяц, камни, тишина...

х х х

Ну и что с того, что дышать отвык,
что чужим останусь в родной стране?
Посмотри, как корчится черновик,
польхая в черном, в ночном огне.

То ли буквы – искрами в высоту?
То ли стенам тесно от сонных звезд?
Ах. не все-то масленица коту,
настает ему и великий пост,

настает расплата за светлый грех –
усмехнись в ответ и смолчать сумеи.
Может, в жизни главное – трепет век,
перелет зрачка, разворот бровей.

И за эту плоть, за тепло, за смерть
расплатиться буйною головой.
чтобы много пить, чтобы мало петь,
захлебнувшись радугой кочевой...

80 СТИХОТВОРЕНИЕ

х х х

Должно быть, Ева и Адам цены не ведали годам,
не каждому давая имя. А ты ведешь им строгий счет,
и дни твои — как вьючный скот, клейменный цифрами густыми,

бредет, мычит во все концы — чтоб пастухи его, слепцы
(их пятеро), над мерзлой ямой тянули пальцы в пустоту
морозную, и на лету латали скорбью покаянной

прорехи в ткани мировой. Лежишь, укрывшись с головой,
и вдруг как бы кошачий коготь царапнет — тоньше, чем игла, —
узор морозного стекла — и время светится. Должно быть,

холодный ангел Азраил ночную землю озарил
звездой зеленою, приبلудной, звездой падучей, о шести
крылах, лепечущий "прости" неверной тверди многолюдной.

х х х

С каменного обрыва ты видишь сад
не корабля, не рыбы, не жизни – нет,

вьется кипучий след, белопенный лес
темной волны, бегущей наперерез

не голубому Богу и даже не
ветру и сердцу, а просто другой волне.

Был этот хлеб горяч, и горчичник жгуч.
Проговорившись, щурясь на медный луч,

скажешь, что море в сумерках пятый год
мойвой сырою пахнет и йодом жжет.

Здесь ли под утро пекарь с одной женой
дрожжи мешал сухие с мукой ржаной?

Так и уходит голос туда, где печь
пышет и ропщет, тщась превратиться в речь,

где на полене щедро кипит смола –
под топором лоза, и во рту зола...

х х х

С. Г.

Допустим вот какой курбет. Поэт садится за обед.
Пред ним дымится миска супа. Но горек чай, и даже хлеб,
как праздный вымысел, нелеп. Как трудно, Господи, как глупо.

И так мучительно зане брести в прохладном полусне,
стирая с сердца капли пота. Когда же выпить он решит,
то вспомнит, что подшит. К тому же – срочная работа.

Что ж, прогуляемся, пиит. Пропах капустой общепит,
вороны медленно летают, полны бананами ларьки,
и разбитные игроки шары наперстками катают.

Сказать бы: how do you do, младое племя, но, к стыду,
с жаргоном нового Чикаго он не в ладах, немолодой
мужик с немодной бородой. Четвертый том "Архипелага"

он на прилавке пролистает, зевнет, прикрыв ладонью рот,
и головой качнет в печали, и замурлычет древний стих,
огней так много золотых, а может, дни короче стали.

Нет, дни становятся длинней (хотя осталось мало дней),
зима, что дамочка седая, от Профсоюзной до Тверской
глядит с усмешкой ведьмовской, на детских косточках гадая.

И все же – здравствуй, племя. Hi! Вздыхай писатель, не вздыхай,
но женских трусиков навалом – так рассуждает он, кривясь
на возникающую связь времен, чахотки с карнавалом.

Так рассуждает он, изгой, нимало участи другой
себе не требуя, взирая на крошки хлеба, снег, нарцисс
в снегу, на облако, карниз. Замерзла Яуза от края

до края. Вьется через град восьмисотлетний и назад
не возвращается – ни речью, ни хриплым возгласом часов
не потревожит мертвых снов трамвайного Замоскворечья.

Что ж, посидим, поговорим. Здесь всякий март неповторим
и сладко расходиться с пира, когда в снегу полны воды,
вокзальной музыки следы в проулках города и мира.

х х х

На небе звезда, под землей провода,
от Господа – слезы да пот.
Беги, моя ночь, неизвестно куда
лучами почтовых хлопот.

И бродит по площади, плачет вотще
подобие ангела в сером плаще –
спускается к пристани, ходит за мной
и горло полощет водой ледяной.

Исконный уродец в небесной семье,
куда и зачем он зовет?
Считать ли созвездия в черном ручье,
где мертвая рыба плывет?

Но долго еще, повинуюсь ему,
в зачет своего ремесла
ты тщишься холщовую сдвинуть суму,
которая в землю вросла, –

и вновь просыпашься, беден и наг,
где Бог свои руки простер,
где город стоит на холмах, на волнах
скалистых, оскаленных гор...

х х х

Мартс — для боевого пира,
для отмщения Зевес,
Аполлон — для звонкой лиры,
для таинственных словес.

Повторимся: Мартс для крови,
для дымящейся окрест,
Афродита для любви,
и для ревности Гефест.

И питомцу Аполлона
помогает славный Вакх
припадать к ночному лону
страсти, спрятанной в словах.

Страсть божественная эта
торжествует и поет,
на заросший берег Леты
жертву робкую ведет.

И не любит, и не губит —
просто рощу наугад
человеческую рубит,
щепки в стороны летят.

х х х

Время течет неслышно, а жизнь – журча.
Что-то неладно вышло с игрой луча
в первом ручье, втором ли, но – ни огня,
ни темноты не помню. Не жди меня.

Шепот в воде кромешной молчит, дрожит,
время течет неспешно, а жизнь бежит,
не понимая, что там – светла, слаба,
льется бескровным потом с крутого лба.

И полетит окольной листве вослед
скомканный в беспокойной руке билет –
спутаны час и дата, не плачь, жена,
время еще богато, лишь жизнь бедна.

х х х

Такая удивительная высь,
что хочется вздохнуть: остановись,
мгновенье, ненаглядно, непослушно...
Но охлаждает горло сладкий страх,
и странный ястреб, с горлицей в когтях
проносится вдоль пропасти воздушной,

и набухают в небе облака,
подобно хлебу в чашке молока,
и достигают горы, цепenea.
пускай не звезд, но гиблой пленки той,
что делит мир на полный и пустой.
Молчит земля, как мертвые под нею.

И, недоверчив, шурился на свет
безвестный путник, зная – места нет
в степях ни чудотворцу–иудею,
ни эллину с монеткою во рту.
А горы открывают наготу,
мыча, крича, собою не владея,

как будто дух серебряной руды
нацелил в них кровавые следы,
как будто ртуть из скального провала
готова литься, литься без конца,
пока невеста с темного лица
на улице не снимет покрывала.

Горел костер, и я в нем пальцы грел,
и в небеса безлюдные смотрел,
и неся в них, и всхлипывал на взлете
сквозь облака, сквозь невозвратный зной,
листая книгу горечи степной
в косноязычном русском переплете.

х х х

Выйдем в город – полночь с нами,
фонари почти тайком
разбегаются кругами
в тесном центре городском,

надоело спорить с роком,
пить зеленое вино,
в высоте из многих окон
молча теплится одно.

Там ли, чудно озабочен
лунной тенью на стеке.
тихий бодрствует рабочий
на измятой простыне–

Непомерной смерти грузчик,
он один в своем труде
в океане звезд, текущих
с горизонта и везде.

Шелест листьев в переулке,
запах хлеба и земли.
Только слышен долгий, гулкий
шепот Господа вдали,

мглистый голос без причины,
предпоследняя глава,
лишь слова неразличимы,
неразборчивы слова...

4 янв. 1993 г.

х х х

Вот и февраль побрел по промерзшим селам.
Перья роняет ворон. Трещат поленья
под топором. Потеря моя уколом
совести жалкой, нищего вдохновенья

не обернется больше, по зимним чашам
не воплотится эхом в прохладном слове.
Мертвая белка на хрустком снегу слепящем,
и на губе закушенной – капля крови.

Словно в старинной байке о фунте мяса,
мой ежедневный путь – к водокачке, к чистой
станции за дорогой, где магазин, сберкасса
и перебор безногого гармониста.

Встанешь ли в очередь, приобретешь газету,
бьешь ли челом, зеваешь, бредешь в тумане
площадью привокзальной – безмолвную песню эту
мне ли не знать. И мелочь бренчит в кармане.

Лишь астроном печальный, к трубе любовно
глазом припав, внезапно протянет руки
к невыносимой выси, заплакав, словно
он не поклонник ночи, не человек науки...

х х х

На утесе, размышляя, наблюдал я бездну вод,
где плыла акула злая и зубастый кашалот,
где, по верному рассказу, трудно людям ночевать,
можно только водолазу в медном шлеме бытовать.

Не промолвил я ни слова, свой восторг в душе храня.
Расстилался бор еловый за спиною у меня,
чайка белая летела, красовался гриб во мху,
солнце ясное сияло, словно люстра, наверху,

в мире, созданном искусно, где уместен волк и лось...
И возвышенное чувство в организме поднялось.
Сколько есть различных тварей, еле влезших в тот ковчег!
Кто над всеми государит? Царь природы – человек.

Но судьбу его живую контролирует другой,
и царем не назову я человека, лишь слугой.
С гор крутых катятся камни, властной сброшены рукой,
и давно велит судьба мне удалиться на покой.

Так грустил я в захолустье, над лиловой бездной вод,
но не сдался данной грусти, а совсем наоборот –
тем и славится природа, что красую во сто крат
укрепляет дух народа, как Гораций и Сократ,

как Вергилий и Гораций, сочиняющие впрок,
затверди, любимец граций, мироздания урок,
пусть в капкане волк рыдает, пусть акула ест треску, –
мудрость жизни побеждает всю вселенскую тоску.

х х х

И безнадежней все, и проще —
вот дождь, которому нужна
одна березовая роща,
простуда, осень, тишина.

Дороги развезло. Темнеют
пустые церкви по холмам,
и жизнь вот-вот оцепенеет,
на незатейливый роман

похожа, где герой спросонья
в пустыне мечется мирской,
там, где под утро крупной солью
снежок посыпан городской,

и не в пустыне, а на узкой
постели, не в снегу — во сне,
на пропотевшей простыне,
все рвется, словно в сказке русской

дойти в железных сапогах
туда, где лезвием кинжала
река замерзшая лежала
в лесистых, черных берегах...

91 СТИХОТВОРЕНИЕ

х х х

Спят мои друзья в голубых гробах. И не видят созвездий, где
тридцатитрехлетний идет рыбак по волнующейся воде.

За стеной гитарное трень да брень, знать, соседа гнетет тоска.
Я один в дому, и жужжит мигрень зимней мухою у виска.

Я исправно отдал ночной улов перекупщику и притих,
я не помню, сколько их было, слов, и рифмованных и простых,

и. на смену грусти приходит злость — отпусти, я кричу, не мучь —
но она острее, чем рыба кость, и светлее, чем звездный луч.

х х х

Попробуй душой нищать, как велит завет.
Одни умеют прощать, а другие нет,
но только один благодати изведаль вес,
ладонью стирая смерть с молодых небес.
Он ведал беду и чудо, он знал красу
рассветной пустыни и женскую наготу,
повешен на ветхом древе, подобно псу,
воскрес и увидел звезды – одну звезду.

А мы – из другого мира полей, кладбищ,
гвоздик на могилах близких, дурной воды.
Не всякий, кто ищет счастья и телом нищ,
в апрельском снегу оставит свои следы.
Как пес бессловесной мордой уставился на луну,
живущий двуногой тенью стучится к себе домой.
нищая душою гордой, отходит к иному сну,
которому пробужденье несвойственно, ангел мой.

Прощание и прощенье, раствор пригвожденных рук
Трешит на дворе костер, а вокруг темно.
Не явится после свадьбы безвестный друг,
который болотную воду умел превращать в вино.
Зальешь ли костер, услышишь ли ложный свист
разбойника-ветра, суглинок, песок, подзол, –
пустынная пыль покрывает бумажный лист
да звездною молью трачен безмолвный взор.

х х х

Есть в природе час, а вернее, миг,
в ноябре, под утро, когда в провалах
подворотен, в месиве стгнивших книг
все, что было, будет и миновало,

вдруг твердеет, схватывается, горя
серебром отчаянной, мертвой ночи, —
это время, черное, как заря.
никого не ждет, ничего не хочет.

И когда не люб ни огонь, ни гроб —
мухи белые на стекле оконном —
прислони к нему толоконный лоб
и за вьюжным высмотришь частоколом —

там один на один с шутовской Тверской
пожилой господин прописных и строчных
просыпается, словно песок морской
из разбитых часов песочных,

беспокойный город, гранитный сад,
видит злые сны в ледяной постели.
Остывает солнечный циферблат,
и любовь уже не отбросит тени.

х х х

Куда как крутое место, приют окрестной
шпаны. На краю стакана щепотка соли,
да всласть трюмхает румбой лихой оркестрик
и чем-то еще из поздних тридцатых, что ли.

На старости лет, вероятно, смутишься вряд ли
испаринной голых спин или криком скрипки,
но льется еще прерывистый свет по капле
из звезд похудевших, тонких сквозь воздух зыбкий.

И, голову остужая холодной водкой,
вдруг вспомнишь, что слово дышит своим порядком,
что жизнь остается долгой, а смерть — короткой,
как глина бывает длинной, а камень — кратким.

х х х

Что делать нам (как вслед за Гумилевым чуть слышно повторяет
Мандельштам) с вечерним светом,
альм и лиловым?

Как ветер, шелестящий по кустам орешника,
рождает грешный трепет, треск шелковый
и влажный шорох там,

где сердце ослепительное лепит свой перелетный труд,
свой трудный иск, — так горек нам
неумолимый щебет

птиц утренних и солнца близкий диск — что делать нам с базальтом
под ногами (ночной огонь
пронзителен и льдист),

что нам делить с растерянными нами, когда рассвет
печален и высок? Что я молчу,
о чем я вспоминаю?

И камень превращается в песок.

х х х

Гадальщик на кофейной гуще, он знал, что дни его долги,
и говорил, как власть имущий, и мне советовал – не лги
и не ищи иного смысла в житье, чем тот, что Бог и бес
влагают, как простые числа, в хитросплетения словес.

Он не достиг земного рая, Он рано умер, и вдова,
его бумаги разбирая, искала главные слова,
те самые, одни из тысяч, чтоб вспомнить, словно о живом.
чтоб их уместно было высечь на тяжком камне гробовом.

Я помогал ей (это длилось дня два), но ни одна строка
не подошла. Лишь сердце билось, да расплывались облака
в неверном небе Подмосковья. Нет эпитафий никому.
Любовь рифмуется с любовью, а голос – с выстрелом во тьму.

И молча я промолвлю: что нам живая речь и смертный стыд?
Над раскаленным Вашингтоном светило тяжкое висит,
огнем граненым, сном багровым асфальтовая спит заря,
но не выдерживает слово цепей земного словаря.

х х х

Я шагал с эпохой в ногу, знал поэтов и певцов,
знал художников немного и известных мудрецов.
Рассуждал о коммунизме, о стихах, о смысле жизни
или шахматной игрой с ними тешился порой.

И не просто для забавы эти творческие львы
говорили мне, что слава слаще меда и халвы, —
что в виду они имели, сочиняя эту речь,
олимпийцы, чем хотели друга скромного увлечь?

Слава — яркая заплата. Это Пушкин написал.
Но она же и зарплата, и шампанского бокал.
Был я полностью согласен и завистливо глядел,
представлялся мне прекрасен этот радостный удел.

Но успешно миновала юность робкая моя.
И давно забочусь мало о таких моментах я.
Больше нет советской власти, лишь доносится в ночи:
не ищи, бахытик, счастья, легкой смерти не ищи.

Даже слава — только слово, уходящее во сне,
вроде саши соколова по серебряной лыжне,
вроде рюмки алкоголя, вроде флоксов на столе —
вроде ветра в чистом поле в вологодском феврале...

х х х

Пожилый магистр ледяных наук
узнает спокойный декабрьский свет
и архивный прах отряхает с рук.
Гляциолог или мерзлотовед,

он опустит взгляд и очки протрет,
бросив мглистый голос иголкой в стог
в городок, где снег, что несладкий мед,
и бумага, словно сухой листок.

Под окном таверна, а в ней вина
хоть залейся. Водки налив на лед,
там подруга другу еще верна,
и поет, и пьет молодой народ.

На дворе метель. И она права.
Снег слетает в море – и ты молчи.
Замерзают в мире твои слова,
и горит береза, одна в ночи.

х х х

Переживешь дурные времена,
хлебнешь вины и океанской пены,
солжешь, предашь – и вдруг очнешься на
окраине декабрьской ойкумены.

Пустой собор в строительных лесах.
Добро в мешок собрав неторопливо,
с морской солью в светлых волосах
ночь-нищенка спускается к заливу.

Ступай за ней, куда глаза глядят,
расплачиваясь с шорохом прибоя...
Не здесь ли разместился зимний ад
для мертвых душ, которым нет покоя,

не здесь ли вьется в ледяной волне
глухой дельфин и как-то виновато
чадит свеча в оставленном окне?
Жизнь хороша, особенно к закату,

и молча смотрит на своих детей,
как Сириус в рождественскую стужу,
дух, отделивший мясо от костей,
твердь – от воды и женщину от – мужа.

х х х

Кто житель, кто жилец, кто, вены отворив,
спустив дурную кровь, лежит – и слаб, и тонок
в купели высохшей и думает, что жив
неверной ревностью, как куклою – ребенок,

кто в сердце города, где, уходя в тоннель,
грохочет грузовик, кто в пригороде сером,
где состязаются – которое темней? –
окошки низкие, где отсыревшим сеном,

простывшим деревом, испариной дождя,
и влажный ветерок болезнен, драгоценен...
Огонь керосиновый, волнуясь и чадя,
дрожит, скрипучую вылизывая темень.

Горящий Бог весть где, сорвавшись с языка,
поворотив лицо к пробоинам небесным,
ты думаешь, что жизнь – всего одна строка,
единственный канат, протянутый над бездной.

И если всякий крест перекрывает рост
казнимого, – войдет в безветренные кущи
предвечный человек, любовник вязких звезд,
живущий Бог весть как, но все–таки живущий.

х х х

Блажен, кто сумрачен и сир, кого суровый Бог
небесной манной накормил и ночью бездыханной
по дну морскому проводил к земле обетованной.
Блажен, кто навестил сей мир во времена тревог —
семь было казней, семь чудес, любовью было восемь,
и ветер рвет, и рдеет лес, и наступает осень.

Заветный лист влетает а дом. Студеное вино
соленным отливает льдом, темно, искажено.
Тебя подруга теребит — ну что ты там заметил?
А ты увидел сквозь стакан, что жизни скудный труд
как бы октябрьский океан, как мутный изумруд —
и безотраден, и забыт, и гибелен, и светел.

х х х

Где гудок паровозный долог, как смертный стон,
полосой отчуждения мчатся Бог весть откуда –
мне пора успокоиться, руки сложив крестом,
на сосновой полке, в глухом ожиданье чуда.

Побегут виденья, почудится визг и вой –
то пожар в степи, то любовь, будто ад кромешный.
Посмотри, мой ангел, в какой океан сырой
по реке времен уплывает кораблик грешный,

и пускай над ним, как рожок, запоеет строка.
и дождем отольется трель с вороньим отливом –
и сверкнет прощанье музыкой языка,
диабетом, щебетом, счастьем, взрывом –

словно трещина входит в хрустальный куб.
Рельс приварен к рельсу, железо – к стали.
Шелести, душа, не срываясь с губ,
я устал с дороги. Мы все устали,

х х х

Так горек голос твой, тихоня, проводник
то света грешного, то ненависти нежной,
то проповедует, что не для нас одних
страсть обезвожена и старость неизбежна.

Тебе, единственной, шепчу, забывши стыд:
не прогоняй меня, прости меня, сестрица,
ты видишь – радуга над городом висит,
за сердце держится, грядущего боится.

Не от ее ль дуги еще Орфей сходил
в насмешливый аид, на жалкий поединок?
И семь ее цветов сливаются в один,
и ослепляют взгляд, горя в весенних льдинах.

х х х

Сколько можно лететь от любви до любви.
будто санки с заснеженной горки,
сколько было пощады, и ревности, и
недоверчивой скороговорки!

Бог простит и другие пожалует дни,
только чем расплатиться за это—
Мы с тобой одни — совершенно одни
перед Богом иного завета.

х х х

От взоров ревностных, чужих ушей-воров
ты долго бережешь, заносчив и спокоен,
коллекцию ключей от проходных дворов,
проломов, выемок, расщелин и промоин.

Томится Млечный путь, что мартовский ручей,
а жизнь еще мычит, и ластится, и хнычет –
коллекцию ключей, коллекцию ночей,
любовно собранных, бесхитростных отмычек.

Не с ними ли Тезей, вступая в лабиринт, –
свеча ли вдалеке или музыка горела? –
легко ль надеяться, когда душа болит,
на сыромятный щит и бронзовые стрелы?

Зачем ему сирен сырые голоса,
когда он час назад простился с Ариадной?
Пусть ветер черные наполнил паруса
иной мелодией – невнятной и прохладной,

но крыши нет над ним! – проговорись, постой,
и, голову задрав, вновь дышишь Млечным, трудным
путем – а он лежит в обнимку с пустотой,
как будто брат с сестрой в кровосмешенье чудном.

х х х

Св. Кековой

Для чего радел и о ком скорбел
угловатый город – кирпичен, бел,
черен, будто эскиз кубиста?
Если лет на двадцать присниться вспять –
там такие звезды взойдут опять
над моей страной, среди тьмы и свиста.

Там безглазый месяц в ночи течет,
и летучим строчкам потерян счет,
и полна друзьями моя квартира.
Льется спирт рекой, жаль. закуски нет,
и красавец пригов во цвете лет
произносит опус в защиту мира.

Если явь одна, то родную речь
не продать, не выпить, не сбросить с плеч –
и корысти нет от пути земного,
потому что время бежит в одном
направлении, потому что дом
развалившийся не отстроить снова.

На прощанье крикнуть: я есть, я был.
Я еще успею. Я вас любил.
Обернуться, сумерки выбирая, –
где сердечник бродский, утрюмства друг,
выпускал треску из холодных рук
в океан морской без конца и края.

И пускай прошел и монгол, и скиф
духоту безмерных глубин морских –
есть на свете бездны еще бездонней,
но для Бога времени нет, и вновь
будто зверь бездомный дрожит любовь,
будто шар земной меж его ладоней.

х х х

Если жизнь еще жива, что наслаивать слова
обнаженной зыбкой ранью, что их сыпать, как горох,
если даже четырех слишком много для признанья?

Сквозь весенний ясный лес поспешает Ахиллес,
черепашу догоняя, а за ним старик Зенон,
а за ним – душа больная в темном мареве земном.

С книгой, с панцирем, с копьем, после схватки воду пьем,
спим в дому своем огромном, лишь отставшая душа,
поминальный хлеб кроша, дышит воздухом заемным.

Кто простил, а кто устал. Небо – кованный металл,
гибкое и голубое. Повтори мне эти три
слова – снова повтори – и еще – Господь с тобою.

х х х

Мудрец и ветреник, молчальник и певец,
все — человек, смеющийся спросонок,
для Бога — первенец, для ангелов — птенец,
для Богородицы — подброшенный ребенок.

Еще звезда его в черешневом вине —
а он уже бежит от гибели трехглавой
и раковиной спит на океанском дне —
не злясь, не торопясь, не мудрствуя лукаво,

один, или среди шального косяка
плоскоголовых рыб, лишенных языка,
о чем мечтаешь ты, от холода немея,
не помня прошлого и смерти не имея?

Есть в каждой лестнице последняя ступень,
есть добродетели: прощенье, простодушье,
и флейта лестная, продольная, как день,
племянница полей и дудочки пастушьей.

Легко ей созывать растерянных мирян —
на звуковой волне верша свою работу,
покуда воздух густ, и сумрачным морям
не возмутить в крови кессонного азота.

х х х

Еще любовь горчит и веселит,
гортань хрипит, а голова болит
о завтрашних трудах. Светло и мглисто
на улице, в кармане ни копыя,
и фонари, как рыба чешуя,
полуночные страхи атеиста

приумножают, плавая, горя
в стеклянных лужах. Только октября
нам не хватало, милая, — сегодня
озябшие деревья не поют,
и холодком нездешним обдают
слова благословения Господня.

Нет, если вера чем-то хороша,
то в ней душа, печалуясь. греша,
потусторонней светится заботой —
хмельным пространством, согнутым в дугу,
где квант и кварк играют на снегу,
два гончих пса перед ночной охотой.

И ты есть ты, тот самый, что плясал
перед ковчегом, камешки бросал
в Москва-реку, и злился, и лукавил.
Случится все, что было и могло, —
мы видим жизнь сквозь пыльное стекло.
как говорил еще апостол Павел.

Ты не развяжешь этого узла —
но ляжет камень во главу угла,
и чужероден прелести и мести
на мастерке строительный раствор,
и кровь кипит неверным мастерством,
не чистоты взыскующим, а чести.

х х х

Никто не зайдет в этот вечер за мной. на лоб не положит ладонь.
Проходит последний трамвайчик речной беззвучной студеной водой.

Росистые поручни, группа "Любэ" в хрипящем динамике. Что ж,
когда бы душа воротилась к тебе — но вряд ли беглянку вернешь.

Кто с нею простится, нальет ей вина — а я в одиночестве пью —
когда с виноватой улыбкой она в иную садится ладью?

Я все потерял, ничего не пойму, но есть же заботливый тот,
кто ласково смотрит в безбрежную тьму и камень на землю кладет —

и я застываю, уверенный в нем, свободном от волчьим обид,
и тополь бессмертный шумит под окном — как зимнее море, шумит...

х х х

Если творчество – только отрада,
и вино, и черствеющий хлеб
за оградю райского сада,
где на агнца кидается лев,
если верно, что трепет влюбленный
выше смерти, дороже отца –
научись этот лен воспаленный
рвать, прясти, доплетать до конца...

Если музыка – долгая клятва,
а слова – золотая плотва,
и молитвою тысячекратной
монастырская дышит братва,
то доньне по северным селам
бродит зоркий рыбак–назорей,
запрещающий клясться престолом
и подножьем, и жизнью своей.

Над Атлантикой, над облаками,
по окраине редких небес
пролетай, словно брошенный камень,
забывая про собственный вес,
ни добыче не верь, ни улову,
ни единому слову не верь –
не Ионе, скорее Иову
отворить эту крепкую дверь.

Но когда ты проснешься, когда ты
выйдешь в сад, где кривая лоза,
предзакатным изъяном объята,
закипает, как злая слеза,
привыкай к темноте и не сразу
обрывай виноградную гроздь –
так глазница завидует глазу,
и по мышце печалится кость.

х х х

Юность в зарослях болиголова,
среди папоротниковых ростков,
лаконична, как строчка Цветкова —
но давно уж не пишет Цветков.
Вечерами в седеющем, поле
валуны холодны и темны.
И пока о покое и воле
влажный глас уходящей волны,
там, вдали от бегов, винокурен,
голубей и любовных забот,
кварцу—деду базальтовый шурин
о бессмертии что-то поет.
Не надгробный, скорее точильный
каменеющей почвы аккорд
золотой немотой пересилен
и серебряным щебетом горд —
только слово уже не взорвется,
не взовется иглой с языка,
и морская вода первородства
будто дикая вишня, горька.

х х х

Не гляди под вечер в колодец минувших лет –
там еще дрожит раскаленный. летучий след
отдаленных звезд, дотлевающих в млечной Лете,
да кривое ведро на ржавеющей спит цепи,
и: дубовый ворот, что ворог, скрипит: терпи,
и русалка влажные вяжет сети.

Если даже вода, как время, дается в долг,
то в сырую овечью шерсть, в небеленый шелк
завернись, как гусеница в июле,
Не дойдя до главной развилки земных дорог,
человек от печали вскрикнет, умрет пророк.
Только Бог останется – потому ли,

что однажды а кровавой славе сошел с креста
(не гляди в пустынный колодец, где ночь густа),
и хулу на него, что курок, взводили?
Посмотри на юго-восток, где велик Аллах,
где спускается с неба друг о шести крылах,
чтобы встать на колени лицом к Медине.

Как недобро блещет на солнце его броня!
И покуда кочевник молит: не тронь меня,
у него огня и воды достанет
для семи таких: будто нож, раскаленный щуп
опускает он в обгорелый, забытый сруб,
чтобы вспыхнула каждая связка в твоей гортани.

х х х

Было ранено, стало залечено – после долгой и волглой зимы
на исходе июньского вечера я хочу на иные холмы.
Меньше часа дорогой проселочной – и уже до реки добредешь,
где белеет игрушкой елочной колокольня за озером. Дождь

скоро кончится. В мирной обители светлым паром исходит земля,
заклинателю и обольстителю океаны покоя суля,
и с хрипящим, дурным напряжением вдруг почувешь сквозь трель соловья,
что ветшает и с каждым движением истончается ткань бытия.

И душа осторожная мается, и острожник о воле поет,
и сирень под руками ломается, озирается, пахнет, живет –
слушай, если отказано в иске и в многословном служенье твоём –
не затем ли созвездья персидские, шелестящий, густой водоем

юной ночи и хрупкое кружево вдохновения? Словно вино,
словно сердце – расширено, сужено – хмелем ветренным бродит оно,
не расплатится и не расплатится – только смотрит в бездонный зенит,
где по блюдечку яблочко катится, и звезда на востоке звенит...

х х х

Быть может, небылица или забытая, как мертвый, быть –
дорога светится, дымится, легко бежит автомобиль –
смешной, с помятыми крылами, вернее, крыльями, пыля
водой разбросанной. Под нами сырая, прочная земля –
но все-таки листва сухая колеблется, а с ней и мы.
Октябрь, по-старчески вздыхая, карабкается на холмы
страны осиновой, еловой, и южный житель только рад
на рошу наводить по новой жужжащий фотоаппарат.
Ах, краски в это время года, кармин, и пурпур, и багрец,
как пышно празднует природа свой неминуемый конец!
Лес проржавел, а я слукавил – или забыл, что всякий год,
как выразился бы Державин, вершится сей круговорот,
где жизнь и смерть в любви взаимной сплетают жадные тела –
и у вселенной анонимной в любое время несть числа
кленовым веткам безымянным и паукам, что там и: тут
маячат в воздухе туманном и нить последнюю плетут...
Здесь пусто в эти дни и тихо. Еще откроется сезон,
когда красавец лыжник лихо затормозит, преображен
сияньем снега, тонкий иней на окна ляжет, погоди –
но это впереди, а ныне дожди, душа моя, дожди.
Поговорим, как близким людям положено, вдвоем побудем
и в бедном баре допоздна попьем зеленого вина –
кто мы? Откуда? И зачем мы, ментоловый вдыхая дым:,
неслышно топчем эту землю– и в небо серое глядим?
Ослепшему – искать по звуку, по льду, по шелесту слюды
свободу зимнюю и муку. От неба – свежесть. От беды –
щепотка праха. Ну и ладно. Наутро грустно и прохладно.
Быль, небыль, вздыбленная ширь, где сурик, киноварь, имбирь...

х х х

Я знаю, чем это кончится, — но как тебе объяснить?
Бывает, что жить не хочется, но чаще — так тянет жить,
где травами звери лечатся, и тени вокруг меня,
дурное мое отечество на всех языках кляня,
выходят под небо низкое, глядят в милосердный мрак;
где голубь спешит с запискою, и коршун ему не враг.

И все-то спешит с депешей, клюет невесомый прах,
взлетая под небо вешнее, как будто на дивный брак,
а рукопись не поправлена, и кляксы в ней между строк,
судьба, что дитя, поставлена коленками на горох,
и всхлипывает — обидели, отправив Бог весть куда —
без адреса отправителя, надолго ли? Навсегда...

х х х

Засыпая в гостинице, где вечереет рано,
где в соседнем номере мучат гитару спьяну,
слишком ясно видишь, теряя остатки хмеля:
ты такой же точно, как те, что давно отпели,
ты на том же лежишь столе, за которым, лепешку скомкав,
пожирает безмозглый Хронос своих потомков.

Свернут в трубочку жесткий день, что плакат музейный.
Продираясь лазейкой, норкою муравейной,
в тишине паучьей, где резок крахмальный шорох,
каменеет время, в агатовых спит узорах,
лишь в подземном царстве, любви достигнуть дабы,
Кантемир рыдает, слагая свои силлабы.

Засыпая в гостинице с каменными полами,
вспоминаешь не землю, не лед – океан и пламя,
но ни сахару нет, ни сыру полночным мышкам.
Удалась ли жизнь? Так легко прошептать: не слишком.
Суетился, пил, утешался святою ложью –
и гремел трамвай, как монетка в копилке Божьей.

Был один роман, в наше время таких уж нету,
там герой, терзаясь, до смерти стремился к свету.
Не за этой ли книжкой Паоло любил Франческу?
Сквознячок тревожит утлую занавеску,
не за ней ли, пасьянс шекспировский составляя,
неудачник–князь поминает свою Аглаю?

Льется, льется безмолвных звезд молодое млеко
а вокруг него – черный и долгий, как холст Эль Греко,
на котором сереют рубахи, доспехи, губы,
и воркует голубь, и ангелы дуют в трубы,
и надежде еще блестеть в человеке детском
позолотой тесной на тонком клинке толедском,

а еще – полыхает огненным выход тихий
для твоей заступницы, для ткачихи,
по утрам распускающей бархат синий.
Удалась ли жизнь? Шелестит над морской пустыней
не ответ, а ветер, не знающий тьмы и веры,
выгибая холщовый парус твоей триеры.

х х х

Не говори, что нем могильный холм,
любая жизнь закончится стихом,
любую смерть за трешку воспевает
кладбищенский веселый доброхот.
А мастер эту надпись поместит
на твой цемент, а может, на гранит,
и две надломленных гвоздики на
него положит скорбная жена...

Не уверяй, что скучен путь земной, —
дай руку мне, поговори со мной,
как Аполлон Григорьев у цыган
угар страстей цветастых постигал,
солдатскую гитару допоздна
терзая в плеске хлебного вина, —
и Фет рыдал, и ничего не ждал,
и хриплый хор его сопровождал.

О если б смог когда-нибудь и я,
в трехмерный храм украдкой пройдя,
всю утварь мира перепрятать — так,
чтоб лишь в узоре окон тайный знак
просвечивал — не пеной, не волной,
паучьей сетью, бабочкой ночной,
и всякий век, куда бы он ни вел,
заклятием и: заговором цвел!

То сердце барахлит, то возле рта
морщина, будто жирная: черта
под уравнием — только давний звук,
бескровным рокотом взрываясь из-под рук,
снует, как стон, в просторе мировом...
Ворочаться и слышать перед сном:
очнись — засни — прости за все — терпи,
струной в тумане, голосом в степи...

х х х

Самое раннее в речи – ее начало.
Помнишь камыш, кувшинки возле причала
в верхнем теченье Волги? Сазан ли, лещ ли –
всякая тварь хвостом по воде трепещет,
поймана ли, свободна, к обеду готова –
лишь бы предсмертный всплеск превратился в слово.

Самое тяжкое в речи – ее продление,
медленный ход, тормозящийся вязкой ленью
губ, языка и неба, блудливой нижней
челюсти – но когда Всевышний
выколол слово свое, как зеницу ока, –
как ему было больно и одиноко!

Самое позднее в речи – ее октавы
или оковы, вера, ночное право
выбора между сириусом и вегой,
между двурогой альфой и омегой,
всем промежутком тесным, в котором скрыты
жадные крючья вещего алфавита.

Цепи, веревки, ядра, колодки, гири,
нет, не для гибели мы ее так любили –
будет что вспомнить вечером на пароме,
как ее голос дерзок и рот огромен –
пение на корме, и сквозит над нами
щучий оскал вселенной в подводной яме.

Х Х Х

Я знаком с одним поэтом: он пока еще не стар.
 Утро красит нежным светом стены замков и хибар.
 Он без сна сидит на кухне. За стеною спит жена.
 Стынет кофий, спичка тухнет, и в тетрадке ни хрена.
 Это страшно, но не очень. Завещал же нам "молчи"
 цензор Тютчев в дикой ночи или, правильной, в ночи
 размышлявший о прекрасном и высоком, но пера
 не любивший, даже классно им владея. До утра
 в тихой мюнхенской гостиной созерцал он чистый лист
 у потухшего камина, безнадежный пессимист.

Не грусти – для счастья нужно огорчаться иногда.
 Например, спешит на службу граждан честная орда,
 и легко ль казаться важным, если знаешь наперед,
 что никто из данных граждан книжек в руки не берет?
 Это грустно, но не слишком. Велика поэтов рать,
 нет резона ихним книжкам без оглядки доверять,
 лучше взять другой учебник, простодушный мой дружок,
 где событий нет плачевных и терзаний смертных йок.
 Это чудо–руководство ты купи или займи,
 только как оно зовется – не припомню, шер ами...

Там, гуляя звездным шляхом, астрофизик удалой
 водрузил единым махом новый веры аналой,
 рассчитал, что в мире зримом ни начала, ни конца,
 доказал, что время мнимо, и отсутствие творца
 обнаружил он, затайник. Полон зависти поэт,
 и кипит его кофейник, и покоя в сердце нет:
 милой жизни атрибуты, радость, страсть, добро и зло –
 как же их увидеть, будто сквозь волшебное стекло,
 чтобы жар любви любовной вдруг двоиться перестал
 и предстал прозрачным, словно сквозь магический кристалл?

В рассужденьях невеселых ты проводишь краткий век,
 будто прошлого осколок, будто глупый человек.
 Звуки песенки негромки, но запой ее в беде:
 все мы прошлого обломки, сны о завтрашнем труде,
 то ночами спички ищем, то бросаем меч и щит, –
 оттого и слог напыщен, и головушка трещит.
 Где найти дрожжей бродильных, как услышать тайный глас
 и безоблачный будильник на какой поставить час?
 Спи: судьба тебя не судит. Не беги ее даров.
 Все равно тебя разбудит моря сумрачного рев.....

х х х

Торговец воздухом и зовом, резедой
и львиным зевом – бархатным, багровым, –
как долго ты висишь меж небом, и бедой,
до гроба вестью невесомой зачарован, –
торговец астрами, продрогший в темный час
у рыночных ворот, украшенных амбарным
замком, – цветы твои, приятель, не про нас,
не столь бедны мы, сколь неблагоприятны.
Мы, соплеменники холщовой тишины
и братья кровные для всякой твари тленной –
не столь утешены мы, сколь обольщены
биеньем времени в артериях вселенной.
Кому, невольник свежесрезанных красот,
не жаловался ты на скверную торговлю?
Но блещет над тобой иссиня–черный свод,
от века исподволь прозящщий каждой кровле,
ни осязания, ни слуха – до поры,
но длится римский пир для лиственного зренья,
и в каждом лепестке – открытые дары,
напрасные миры иного измеренья...

х х х

В неуловимых волнах синевы
переливаясь, облачные львы,
верней – один, повернутый неловко,
всплывает вдруг... О чем ты говоришь,
Полоний мой? Нет, это просто мышь,
подземных звезд бесполоая воровка,

довольная минутным бытием,
она в зрачке сжимается твоим,
и, как поэт сказал бы, в неге праздной,
спешит бесшумным, курсом на закат,
где золотом расплавленным богат
диск солнечный, и мрак шарообразный.

Рассеемся – я тоже залечил
свой давний дар, и совесть облегчил
вечерней речкой, строчкой бестолковой...
Ни облаку, ни ветру не судья,
плыву один в небесные края,
неверностью – и ревностью окован.

х х х

Оттревожится все: даже страстный, сухой закат
задохнется под дымным облаком, словно уголь
в сизом пепле. Простила ль она? Наверяд.
Слишком верною, слишком строптивой была подругой.
Будто Тютчев, дорогой большою в ботинках бредешь сырых
и, от тяжести хладного неба невольно ежась,
декламируешь тихо какой-нибудь хлесткий стих,
скажем, жизнь есть проверка семян на всхожесть.

Погоди: под дождем полуголые спят кусты,
побежденный ветер свистит и кричит "доколе"?
Навсегда, потому что я стал чужим, отвечаешь ты,
и глаза мои ест кристалл океанской соли.
Навсегда, навсегда, потому что в дурном хмелю
потерялся путь, оттвердила свое гадалка.
Никого – шумишь – я в сущности не люблю,
никого мне отныне, даже себя, не жалко.

И в ответ услышишь: алые облака
словно голос в городе – были, и больше нету.
Всей глухой надеждой сдвоенного ростка
в подземельном мраке, кощунствуя, рваться к свету –
ты забыл молодого снежка беззаботный хруст,
оттого–то твой дух, утекающий в смерть–воронку,
изблует ассирийский бог из брезгливых уст
и еще засмеется тебе вдогонку...

х х х

Воздвигали себя через силу, как немецкие пленные – Тверь,
а живем до сих пор некрасиво, да скрипим, будто старая дверь.
Ах, как ели качались, разлапась! Как костер под гитару трещал!
Коротка дневниковая запись, и любовь к отошедшим вещам,
Словно свет, словно выстрел в метели, словно пушкинский стих не попад...
Но когда мы себе надоели, сделай вывод, юродивый брат, –
если пуля – действительно дура, а компьютер – кавказский орел,
чью когтистую клавиатуру Прометей молодой изобрел, –
бросим рифмы, как красное знамя, мизантропами станем засим,
и погибших товарищей с нами: за пиршественный стол пригласим...

Будут женщины пить молчаливо, будет мюнхенский ветер опять
сквозь дубы, сквозь плакучие ивы кафедральную музыку гнать,
проступают, как в давнем романе, невысокие окна, горя
в ледяной электрической раме неприкаянного января,
и не скажешь, каким Достоевским объяснить этот светлый и злой
сквознячок по сухим занавескам, город сторбленный и пожилой.
Под мостом, под льняной пеленою ранних сумерек, вязких минут
бедной речкой провозят стальное и древесное что-то везут
на потрепанной барже. Давай-ка посидим на скамейке вдвоем,
мой товарищ, сердитый всезнайка, выпьем водки и снова нальем.

Слушай, снятый с казенного кошта, никому не дающий отчет,
будет самое страшное – то, что так стремительно время течет,
невеселое наше веселье, муравьиной работы родник,
всякий день стрекозиною хмеля, жизнь, к которой еще не привык, –
исчезает уже, тяжелея, в зеркалах на рассвете сквозит
и, подобно комете Галлея, в безвоздушную вечность скользит –
но Господь с тобой, я заболтался, я увлекся, забылся, зарвался,
на покой отправляться пора – пусть далекие горы с утра
ослепят тебя солнцем и снегом – и особенной разницы нет
между сном, вдохновеньем и бегом – год ли, век ли, две тысячи лет...

х х х

Что положить в дорогу? Лампу, хлеб, вино,
продолговатый меч нубийского металла,
и щит, и зеркальце, чтобы во тьме оно
отполированную бронзою сверкало,
чтобы, нахохлившись растерянной совой,
душа, проснувшаяся в каменных палатах,
легко и весело узнала облик свой
среди богов песьеголовых и крылатых.

Товарищ вольный мой, ну что ты отыскал
в удвоенных мирах и световодных войнах,
не трогая меча, не жалуя зеркал,
хрустальных, будущих, овальных, недовольных?
Уже вступает хор, а ты – солгал, смолчал,
и, обременена случайными долгами,
рука, подобная пяти ночным лучам,
обиженно скользит по тусклой амальгаме...

х х х

Как холодно. Тереть глаза, считать до ста,
ворочаться, вздыхать, — должно быть, неспроста,
шумит, шумит во тьме ущербный дождик мелкий,
уходит свет в песок, просрочены счета,
и скверные стихи нуждаются в отделке.

Платон, пещеры друг, учил, что жизнь — кино,
зачем же ты, скользя по плоскости наклонной,
в дырявые меха льешь странное вино,
как будто всякий сон есть око и окно
в безлунный, дикий сад, пропахший белладонной

и валерьяной... твой Господь не спит,
неосвященным дождиком кропит
горбатый дом для мимолетной твари.
А там, под костью сводчатой, кипит
борьба одушевленных полушарий —

не дремлет раб, земля ему кругла —
ни одного излома и угла,
ни выступа, ни лестницы, ни сетки —
так пленный царь стирает пот с чела,
на площади, один в железной клетке.

х х х

Вот человек, которому темно, —
по вечерам в раскрытое окно
он клонится, не слишком понимая,
о чем шумит нетрезвый пешеход,
куда овчарка старая бредет,
зачем луна бездействует немая.

Зато с утра светло ему, легко —
он молча пьет сырое молоко,
вступает в сад, с деревьями ни словом
не поделившись, рвет созревший плод
и скорбь свою, что яблоко, жует,
на солнце щурясь в облаке багровом.

Так черешок вишневого листка
дрожит и изгибается, пока
простака Эдип, грядущим озабочен,
мечтает жить, как птицы у Христа,
не трогать небеленого холста
и собирать ромашки у обочин.

Да я и сам, признаться, тоже прост —
пью лишнее, не соблюдаю пост,
не выхожу из баров и кофеен.
Чем оправдаться? От молодых ногтей
я знал, что мир для сумрачных вестей,
а не для лени пушкинской затеян.

Я был другой, иные песни пел,
а ныне — истаскался, поглупел,
присматриваясь к знакам в гороскопе
безлюдных парков, самолетных крыл,
любовных строк, которые забыл
сказать своей похищенной Европе.

Так человек согнулся и устал,
и позабыл, как долго он листал
Светония, дышал табачным дымом
под винный запах августовских дней —
чем слаще спать, тем царствовать трудней
в краю земном, в раю необратимом.

х х х

Когда у часов истекает завод,
среди отдыхающих звезд
в сиреновом небе комета плывет,
влача расточительный хвост.
И ты уверяешь, что это одна
из незаурядных комет, –
так близко к земле подплывает она ;
однажды в две тысячи лет!
А мы поумнели и жалких молитв
уже не твердим наугад –
навряд ли безмолвная гостья сулит
особенный мор или глад.
Пусть, страхом животным не мучая нас,
глядящих направо и вверх,
почти на глазах превращается в газ
неяркий ее фейерверк,
кипит и бледнеет сияющий лед
в миру, где один, без затей
незримую чашу безропотно пьет
рождающий смертных детей.

х х х

Еще плоток. Покуда допоздна
исходишь злостью и душевной ленью,
и неба судорожная кривизна
шумит, не обещая искупленья —
я встану с кресла, подойду к окну
подвальному, куда сдувает с кровель
сухие листья, выгляну, вздохну,
мой рот немой с землей осенней вровень.
Там подчинен ночного ветра свист
неузнаваемой, непобедимой силе.
Как говорит мой друг—позитивист,
куда как страшно двигаться к могиле.
Я трепет сердца вырвал и унял.
Я превращал энергию страданья
в сентябрьский сумрак, я соединял
остроугольные обломки мирозданья
заподлицо, так плотник строит дом,
и гробовщик — продолговатый ящик.
Но что же мне произнести с трудом
в своих последних, самых настоящих?

х х х

Существует ли Бог в синагоге?
В синагоге не знают о Боге,
Существо без копыт и рогов.
Там не ведают Бога нагого,
Там сурово молчит Иегова
В окруженье других иегов.
А в мечети? Ах, лебеди-гуси.
Там Аллах в белоснежном бурнусе
Держит гирию в руке и тетрадь.
Муравьиною вязью страницы
Покрывает, и водки боится,
И за веру велит умирать.
Воздвигающий храм православный
Ты ли движешься верой исправной?
Сколь нелепа она и проста,
Словно свет за витражною рамой,
Словно вялый пластмассовый мрамор,
Не похожий на Бога Христа.
Удрученный дурными вестями,
Чистит Розанов грязь под ногтями,
Напрягает закрученный мозг.
Кто умнее – лиса или цапля?
И бежит на бумаги по капле
Желтоватый покойницкий воск.

х х х

Иди, твердит Господь, иди и вновь смотри, —
пусть бьется дух, что колокол воскресный, —
на срез бульжника, где спит моллюск внутри,
вернее, тень его, затверженная тесной
окалиной истории. Кювье
еще сидит на каменной скамье,
сжимая череп саблезубой твари,
но крепнет дальний лай иных охот,
и бытием, сменяющим исход,
сияет свет в хрустальном черном шаре.
Не есть ли время крепкий известняк,
который, речью исходя окольной,
нам подает невыносимый знак,
каменноугольный и каменноугольный?
Не есть ли сон, уже скользящий в явь,
январский Стикс, который надо вплавь
преодолеть, по замершему звуку
угадывая вихрь — за годом год —
правобережных выгод и невзгод?
Так я тебе протягиваю руку.
А жизнь еще полна, еще расчерчен свет
раздвоенными ветками, еще мне,
слепцу и вору, оставлять свой след
в твоей заброшенной каменоломне.
Не камень, нет, но — небо и гроза,
застиранные тихие леса,
и ударяет молния не целясь
в беспозвоночный хор из-под земли —
мы бунтовали, были и прошли
сквозь — слышишь? — звезд-сверчков упрямый,
точный шелест—

х х х

...эта личность по имени "он",
что застряла во времени оном,
и скрипит от начала времен,
и трещит заводным патефоном,
эта личность по имени •"ты"
в кипяток опускает пельмени.
Пики, червы, ночные кресты,
россыпь мусорных местоимений –
это личность по имени "я"
в теплых, вязких пластах бытия
с чемоданом стоит у вокзала
и лепечет, что времени мало,
нет билета – а поезд вот-вот
тронется, и уйдет, и уйдет...

х х х

...а там — азартная игра
без золота и серебра,
черна земля на пальцах марта,
на серый снег, на провода
троллейбусные без труда
ложатся дни, ложится карта

не та... снег тает, я и сам
не доверяю небесам,
мне все равно, когда Иуда,
прищулив острые глаза,
кидает черного туза
на стол неведомо откуда.

Весь выбор — между "ох" и "эх".
Как страсть, мелькает легкий снег
в фонарном свете отдаленном,
ты выложил последний грош
и рассудительно бредешь —
прочь, прочь от собственного дома.

Но ты умен? ты все простил?
ты даже музыку светил
разъял на простенькие ноты,
а если рана и кровит —
ей не поможет алфавит,
алеф, еры, немая йота,

Короче — море и коралл.
Ты проиграл, ты проиграл,
аминь во тьме каменоломни
гремит. И мир поет во тьме,
младенец не в своем уме,
еще спокойней и огромней.

х х х

Как нам завещали дядья и отцы,
не споря особо ни с кем,
на всякое бляенье черной овцы
имеется свой АКМ.
Но, мудростью хладною не вдохновлен,
отечества блудный певец
танцует в тени уходящих времен
и сходит с ума наконец.
Твердит, что один он родился на свет,
его покидает один —
и вот иногда он бывает поэт,
а чаще простой гражданин.
Напрасно достались ему задарма
глаза и лукавый язык!
Он верит, что мир — долговая тюрьма,
а долг неподъемно велик.
Он ухо свое обращает туда,
где выщвели гордость и стыд,
где яростно новая воет звезда
и ветер по-выпьи свистит,
По морю и посуху, как на духу,
скулит на звериный манер,
как будто и впрямь различает вверху
хрустальную музыку сфер.

х х х

Геorgia Иванова листая
на сон грядущий, грустного вранья,
ты думаешь: какая золотая,
какая безнадежная земля
отпущена тебе на сон грядущий,
какие кущи светятся вдали –
живи, дыши, люби – охота пуще
неволи, тяжелей сырой земли,
взлетаешь ли, спускаешься на дно –
но есть еще спасение одно...

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Бахыту Кенжееву по случаю его приезда в Чикаго

Ты копаешься в себе —
Я смотрю на дело проще:
Выхожу с утра на площадь,
Отдаю себя толпе.

И среди помятых лиц
Я ищу лицо другое:
Повесть моего героя
В ореоле небылиц.

Твой словарь красноречив,
И подход разнообразен.
Мне достаточно лишь наземь
Лечь, детали опустив.

Суть не в этом, все равно
Ты у нас поэт от Бога,
И дано тебе так много —
Все, что смертным не дано.

Так что царствуй, светлый маг!
В мастерстве живых созвучий
Ты поэт, бесспорно, лучший.
Всех тебе желаю благ.

Михаил Рахунов (12 ноября 2015 г.)

КНИГИ ЧИКАГСКОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА «POEZIA.US»

МОЖНО ПРИОБРЕСТИ НА САЙТАХ КОМПАНИИ AMAZON:

FRANCE: <http://www.amazon.fr>

GERMANY: <http://www.amazon.de>

ITALY: <http://www.amazon.it/>

UNITED KINDOM: <http://www.amazon.co.uk>

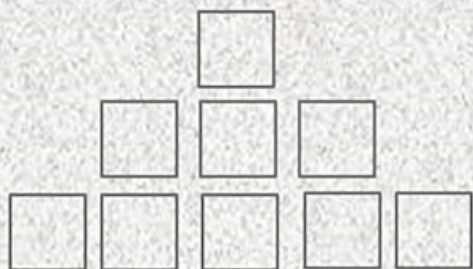
USA: <http://www.amazon.com>

НУЖНО ВОЙТИ НА ОДИН ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ САЙТОВ

И ВВЕСТИ «POEZIA.US» В ПОИСКОВОМ ОКНЕ.

КНИГИ ТАКЖЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ НА САЙТЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

<http://www.poezia.us>



СЕРИЯ «135 СТИХОТВОРЕНИЙ»